

Петр Катериничев

Повелитель снов



Петр Владимирович Катериничев
Повелитель снов
Серия «Дрон», книга 6

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=326022

Аннотация

Олег Дронов, журналист и в прошлом аналитик разведки, по просьбе Анн Даниэлс, бывшей воспитанницы специального детдома, курировавшегося засекреченным НИИ, удочеренной четырнадцать лет назад австралийской парой, попадает в городок Бактрию, чтобы найти ее приемного отца Дэвида. Сам Дэвид прибыл в город в поисках странного медальона – талисмана, уже не одно тысячелетие влияющего, по поверьям, на судьбы людей. И пропал... С беглого взгляда курортный город в мертвый сезон кажется сонным и недвижимым, но сны здесь словно материализуются, сны кошмарные и нередко фатальные. Да и выросшие детдомовские дети оказываются наделенными уникальными способностями, но притом – абсолютно беспомощными перед своим неведомым прошлым. И все происходящее кажется мнимым, будто мираж. Олегу Дронову необходимо понять, что происходит. Чтобы обрести право на жизнь и любовь.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	8
Глава 3	11
Глава 4	13
Глава 5	15
Глава 6	18
Глава 7	21
Глава 8	23
Глава 9	25
Глава 10	27
Глава 11	31
Глава 12	33
Глава 13	36
Глава 14	39
Глава 15	42
Глава 16	46
Глава 17	49
Глава 18	52
Глава 19	55
Глава 20	57
Глава 21	59
Глава 22	62
Глава 23	64
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Петр Катериничев

Повелитель снов

(Дрон-6)

Москва, Ясенево

Глава 1

Берег был абсолютно пустынным. И скалы, и море казались то ли декорацией к спектаклю, то ли просто картинкой из ирреальной, неземной жизни, если вообще застывшее темно-фиолетовое пространство можно было назвать жизнью.

Неожиданно пустоту прорезали длинные галогенные лучи, и изображение вовсе утратило очертания. Потом сделалось очевидно: автомобиль, более похожий в этом диковинном освещении на доисторического хитинового монстра, подъехал и остановился у края обрыва. Показались два силуэта и вскоре скрылись за какой-то неровностью. Изображение оставалось таким же размытым еще минут семь. Потом картинка потускнела, экран зарядил серым: запись кончилась.

Двое мужчин, один явно старше пятидесяти, другой, напротив, явно моложе сорока, сидевшие в кабинете и терпеливо рассматривавшие картинку на экране монитора – лишённую действия и движения, не выказали никаких признаков неудовольствия или хотя бы усталости из-за вынужденного бездействия.

Один занял место во главе стола, развел губы в оскале, весьма отдаленно напоминающем улыбку. Он был невысок, крепок, высоколоб, пухлогуб, с аккуратным носом; остатки редких волос были со тщанием зачесаны ровнехоньким пробором, но лысина явно просвечивала и словно сама собою излучала сияние; короче, мужчина напоминал бы хрестоматийного, пусть и несколько грешного, херувима, кабы не подбородок: тяжелый, квадратный, словно взятый природой у римского центуриона времен Луция Корнелия Суллы, он нарушал всякую гармонию и придавал лицу вид решимости тяжкой и непреклонной.

И еще – глаза, глядевшие из глубоких глазниц, как затаившиеся в стволах пули; они были со странным, то ли оловянным, то ли вовсе александритовым отливом и постоянно словно меняли цвет так, что выражения их не смог бы угадать никто. Лицо человека украшали очки, но можно было поручиться, что деталь эта напроць декоративная и служила той же цели: прикрыть выражение глаз мутью дымчатого стекла. Звали мужчину Сергей Сергеевич Бобров.

Второй был помоложе не только по возрасту, но и по положению; он устроился за приставным столиком. Его лицо было иным. Оно казалось скорее даже не вылепленным, влитым из темного металла – столь жестко и неподвижно оно было; это впечатление дополнялось и стойкой смуглостью загара, и короткими, словно сработанными из жесткой проволоки, но притом абсолютно прямыми волосами и аккуратной, с проседью, бородкой, и, более всего, странным разрезом глаз; они были не просто раскосы, они казались таковыми, даже если мужчина поворачивался в профиль; так изображали глаза у жрецов на фресках египетских пирамид. Фигура была под стать лицу: могучая литая бронза, по какой-то причуде скульптора обтянутая твидом. Его имя было Александр Хаджубетович Аскеров. Но все называли его Аскер.

– Это все, что у нас есть, Сергей Сергеевич?

– Да. – Бобров вздохнул. – И что нам с этим теперь делать... И если бы еще на нашей территории, а так... После «бархатной зимы» у них там «черный предел» и все такое, а тут мы со своими баранами... – Бобров замолчал, озабоченно потер переносицу.

– Хорошо беседовалось? – Аскеров кивком указал на потолок. – Из-за чего все-таки напряг? Меня отозвали... а я уже такой чифирек с теми арабскими «барбудос» и их смежниками замутил, что только помешивай... И вдруг – все бросай и являйся пред светлы очи. Непрофессионально это.

– Не бурчи, друг Аскеров. Без тебя невесело.

– «Как хорошо быть генералом...» – напел Аскер. – Так кто были эти, в автомобиле? «Большие мужчины»?

– Один. Сенатор ближнего круга, личный друг Самого, возглавляет в Совете Федерации комиссию по жутко чему сказать; уезжает из Сочи почти инкогнито, оказывается в Бактрии, этой забытой богом дыре, без охраны, с какой-то теткой, схожей на конотопскую ведьму...

– Одним нравится свежий ананас, другим – подвяленная вобла. Бывает.

– Сенатор если и грешил когда, то вполне законопослушно, как им и положено, с обслугою, никаких новомодных веяний; да к тому же дама еще в дурдоме провела толику лет, а теперь – астрологиня и прорицательница, по прозванию Миранда Радзиховская. Чего-то там магистр и адепт. Еще считалась медиумом и грешила столоверчением и зазыванием духов на всякую потребу.

– И то, что мы видели...

– Ну да: сенатор и звездознавка приехали в безлунную ночь на пустынный бережок пообщаться с потусторонним. Спустились в распадок, расселись кружком и – умерли. Остановка сердца. Вернее, сердец. У обоих. Судя по всему, одновременно. Безо всякой видимой причины. И невидимой тоже.

– Может, они достигли успеха?

– Дозвались, кого ожидали?

– Ага. Оно и пришло. Как говорят олениводы, песец подкрался незаметно. Что интересуется наших «верхних людей»?

– Во-первых, сенатор был нашпигован гостайнами, как фаршированный фазан. Во-вторых, человек он был небедный, с массой всевозможных связей и конкурентных отношений как в бизнесе, так и в политике. Что, впрочем, теперь одно и то же. Естественно, всем небезынтересно знать, не прибрала ли сенатора «супротивная сторона» таким экзотическим способом. И что это за сторона. В#третьих... Не знаю даже, как и сформулировать... «Верхние люди» опасаются, уж не нашаманил ли сенатор им чего зловредного перед безвременной кончиной. Вот такие нехорошие дела. Картина битвы ясна?

– Не вполне. Откуда кассета?

– В Интернете выловили.

– Даже так?

– Ага.

– А оператор?

– Не нашли.

– О режиссере не спрашиваю.

– Картина битвы... Давай, Саша, вносить ясность. По ходу пьесы. У тебя были сутки для ознакомления. Ты же сам из Бактрии родом...

– О, это только так называется. Отец служил на базе боевых пловцов инструктором; его перевели, когда мне был месяц от роду.

– Но мама-то оттуда...

– И – что? Она одиннадцати лет осталась сиротой, и если разобраться – ни родственников, никого.

– Ладно. Материалы по городку ты проштудировал. Что выяснил? Или – что заметил? Вещай.

– По порядку или по значению?

– По порядку. Значение мы и сами чему хошь придадим: учёны.

– Городок основан греками предположительно в шестом или пятом веке до Рождества Христова. Был колонией Милета, на что указывают археологические находки; в частности, серебряные монеты с изображением льва на реверсе и солярного знака – свастики – на аверсе. Впоследствии город считался отдельным полисом, отливал свою монету из самородного сплава золота и серебра – так называемые «кизикины». На аверсе – изображение бога Гермеса, на реверсе – кадуцей: жезл власти, перевитый двумя змеями. Кстати, на штандарте Торгово-промышленной палаты России – тот же символ. В музеях – всего две такие монеты, собственно бактрийских, одна – в Британском, другая – в Эрмитаже, ценность потому неопи-сваемая...

– А в деньгах?

– Порядка полутора миллионов евро. Но это страховая цена. На самом деле их никто не продает. И не покупает.

– Понятно. Спроса нет, – хмыкнул Бобров.

– Во-во. И предложения. А если третья монетка объявится, серьезные антиквары могут отвалить за нее миллиона три. А то и все четыре. Покойный сенатор помимо потустороннего нумизматикой не увлекался?

– Увлекался.

– Во как. Тогда дальше. – Аскеров улыбнулся одними губами. – По порядку. Считается, что кроме таких монет была еще особая, типа медальона, возможно, что и более древняя, скажем, века восьмого до новой эры. До Бактрии примерно в тех же местах был другой город, совсем в стародавние времена, с тем ли названием, с другим – теперь неизвестно. Монета или медальон являлся знаком жреческой власти; помимо нумизматической ценности обладает еще и длинным шлейфом легенд с незапамятных времен: власть над людьми, мистические катаклизмы и прочая беспоповская ересь...

– Имеет под собой почву?

– Кто скажет? За тысячелетия домыслов о мире люди накопили куда больше, чем знаний. И домыслы облакаются в тоги «тайных доктрин», и откровения веских «гуру», «магов» и «чародеев» расходятся сейчас баснословными тиражами среди мнительных и тревожных сограждан. Время такое. Людям личной исключительности хочется. И – личного могущества. Потому и в Господа верить – вроде мелко и недостойно. А когда в Бога не верят, начинают верить во что угодно. Так уж человек создан, чтобы верить.

– Ты веришь, Аскер?

– Верю.

– В Бога или?..

– «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа... и в Духа Святого, Господа, Животворящего...»

– Аминь. Ты мне решил не весь Символ веры цитировать?

– Так ты задал умный вопрос, Сергей Сергеевич. Я ответил по существу.

– Но ты и Коран не отрицаешь.

– Господь один. И волею Своей дал каждому народу понимание Себя и разумение в той форме, в которой Его смогли принять и понять. Кроме тех, что лукавым мудрствованием

извратили написанное в потакание своей гордыне и поклоняются Сатане или тельцу – благ земных ради.

Бобров поморщился, покачал головой:

– Только сам не мудрствуй, а?

– Просто я так думаю.

– Хорошо. Дальше.

– В Бактрии этой – даром что курортный городок, пусть и захолустье, помимо церкви, костела, мечети и синагоги еще десятка полтора разных сект, секточек и церквочек. Со своими пророками, вероучителями и прорицателями. Не считая ворожей, гадалок, целителей ауры, чистильщиков чакры и прочего служилого люда. Так что Миранда Радзиховская там была не в диковину, скорее наоборот, часть пейзажа.

А в конце восьмидесятых и начале девяностых Бактрия была просто местом паломничества для всех тронутых восточными и сопутствующими культурами граждан эсэссэра. Да, там еще два Дома творчества, Союзов писателей и композиторов, понятно, все не так круто, как в Коктебеле, но престижно. Они свою лепту в общую ментально-эмоциональную неуравновешенность вносили. Сейчас пришли в захирение некоторое, как и капища: серьезные «братья-гугеноты» или в Сибирь переместились, или в расейскую глубинку перебрались: и тише, и глуше. А официозные писатели с поэтами вымерли, как вид.

– Неужто?

– По невостребованности. Остались московские тусовщики и провинциальные губошлепы. Одни страдают столичным чванством, другие – провинциальной спесью. Одно другого стоит.

– Ты чего их так, Аскер?

– Читать люблю. А – нечего.

– Но исключения-то бывают.

– Случаются. Чехов, Бунин, Хемингуэй, Лермонтов, Пушкин, Шекспир.

– Никого не забыл? В Бактрию вернись, Саша.

– Бактрия... Город словно разделен на две части: старая, существующая с незапамятных времен, пережившая ренессанс в начале прошлого века и тогда же застроенная частично по новой – тяжеловесным модерном купцами-караимами, да с тех пор, как говорится, минуло: бродишь словно по брошенному музею... Или погосту.

Новая – это пансионаты и санатории. Много детских. Две психлечебницы для детей-сирот, даже не лечебницы, детдома.

Летом – как на всех курортах средней руки: «любой каприз за ваши деньги». Сдается все. Подтягиваются сезонные работнички: жрицы «первой древнейшей», карманники, шулера и прочее, прочее, прочее... Ну и ворожеи не простаивают: чем еще интеллектуально развлечься обывателю, как не приворожить денёг да не наслать на ближнего гонококковую порчу? То-то. Вот такие там пирожки и пирожники.

– Все?

– В общих чертах.

– И – что сам думаешь?

– Дури много. А когда ее много, то это не глупость, а особый склад ума.

Глава 2

Бобров задумался, произнес невесело:

– Остается только выяснить, кто там... такой умный.

– И всех делов. Только не вяжется что-то, Сергей Сергеевич.

– Что?

– Ну «зажмурился» сенатор, пусть и на пару с ведьмой, нам что за дело? Есть служба охраны, у них и свои аналитики, и свои опера. А ты – меня подпряг. Так что – выкладывай по полной.

– Твоя правда. Слушай. Бактрия сейчас – городок тишайший. Свои бандиты там дружку извели еще десяток лет назад; город под контроль поставили менты и служба госбезопасности. Крыша. Порядок и благоденствие. И вот, представь: начиная с ушедшей зимы... Февраль. Двенадцать авторитетов собрались на симпозиум – отдохнуть и перетереть на нейтрале кто, кому и сколько... Не по бактрийским делам – по общим вопросам. Утром – шестнадцать трупов.

– Ты сказал – двенадцать.

– Четверо – охрана.

– У всех тоже... сердце?

– У всех – спазм сосудов головного мозга.

– Нам что за дело? Пусть тамошние полицаи или гэбисты и разбираются, раз уж их земля.

– Они зарылись. Братва свое расследование провела – никто ничего. Да и некогда им стало разбираться: вакансии делить нужно. Слушай дальше. Март. Шестеро детей гор и пламенных борцов за свободу Ичкерии в одном из пансионатов здоровье поправляли. Двое жили в люксах, четверо – в полулюксах. Собрались как-то вечерок скоротать и – умерли. Угадай отчего?

– Неужели анурез?

– Вскрыли вены. Каждый себе.

– А наши тут не расстарались, случаем?

– Я посылал запрос: никаким боком.

– Отдел по борьбе с терроризмом? Скажут они. Жди. И даже в газете пропечатают.

– Погоди, Аскер. Теперь апрель. Шестеро залетных бандитов приехали отдохнуть и развезаться – ничего больше. И что?

– И – что?

– Прямо на джипе заехали в море.

– Со скалы?

– С пляжа. Разогнались, там после метра глубоко, они и утопились. Всем сплоченным коллективом.

– Понятно. Тоска их заела. Или – совесть замучила.

– По страшенной силе. Но в СГБ задумались-таки умные головы, спецгруппу снарядили, стали выспрашивать, пытать, информацию собирать и...

– Помрээ?

– Группа из четырех человек; собрались обсудить на конспиративной квартирке, что нарыли...

– Повальный ящур?

– Примерно с десяти вечера до часу ночи играли в русскую рулетку.

– Три часа? Ого! Да им везло!

- Пока не повезло окончательно. Последний – застрелился. И знаешь, что самое удивительное?
- Неужели револьвер принадлежал Феликсу Эдмундовичу?
- Они не пили. Не курили траву. Не ширялись. Просто сидели, крутили барабан и сосредоточенно щелкали курком. Как на работе. Пока не пристрелялись все.
- Бобров замолчал, вынул сигарету, закурил:
- И это – еще не все!
- Не все?! – подыграл Аскеров.
- По Бактрии поползли слухи. Что кто-то нашел тот самый медальон и теперь вытворяет с людьми что хочет. Последний случай: мэр приказал долго жить.
- Неужели тоже самоубился? По неопытности – двумя выстрелами в голову?
- Бобров едва заметно развел губы в улыбке:
- Это в столицах у них. В провинции проще.
- Котлеткой подавился?
- Много лет страдал ишемией, а тут – власть переменялась, с него собрались спросить за безвременно потраченные денюжки, вот и... Острая сердечная недостаточность. Со всякими бывает. Но! Город приписал сие все той жес и л е. Этому поверили все и безоговорочно.
- Короче, объявился Зорро и мстит всем за поругание родного края и личную невосребованность.
- Вполне возможно. А теперь, Аскер, давай без ерничества: что думаешь серьезно?
- А я и серьезно вполне допускаю наличие нечистой силы. Я же тебе цитировал: «видимым же всем и невидимым». Вот эти невидимые – они и есть. Исключая ангелов, понятно.
- Саша!
- Хотя зло, конечно, не есть сущее. Оно существует только в делах людей, добровольно отринувших путь истины и...
- Аскер! Ты понял, почему я тебя выбрал? И вытащил из знойного Йемена?
- Вестимо. Чтобы наградить.
- Ты поедешь в Бактрию и будешь там новоявленным гуру. Своим. Внешность у тебя подходящая.
- Да я в их ритуалах запутаюсь!
- Свои выдумай.
- Аскеров задумался, покачал головой:
- Хлипковато. Да и долго. Пока расшаманюсь, пока клиентуру подберу да с коллегами начну общаться... Результат у тебя, Сергей Сергеевич, когда требуют?
- Вчера.
- Может, журналистом?
- На журналиста ты похож, как я – на президента Мадагаскара.
- Тогда – новым русским поеду, а?
- Без охраны?
- Экстравагантным. Новая формация. На «порше». Скажем, пополнять коллекцию всяким хламом. Монеты, кальяны, то-се...
- Пошиковать хочешь? Смету не утвердят.
- Если покойный – товарищ Самого – утвердят.
- А ты наглый.
- Есть немного.
- Тогда лучше – перекупщиком.
- Да эти ребята расколнут меня «на раз».
- И – что? Водичка там отстойная – мутиг. Чем больше мутиги, тем больше рыбы. Остается поймать золотую.

- И – загадать желание.
- И какое у тебя желание, Аскер?
- Стать героем.
- По существу что скажешь?
- Лучший способ спрятать что-то значимое – это придать происходящему форму фарса.

Иллюзиона. Маскарада. Шабаша.

Аскер взял со стола скрепку и в несколько движений свернул ее в замысловатую фигурку, напоминающую китайский иероглиф.

- Спеца бы послушать, – сказал он.
- Сидит в приемной. Старичок. Но – крепкий.
- Не Абдурахман?
- Леонид Ильич.
- Во как!

– Профессор, ветеран борьбы с лысенковщиной; умный аппаратчик; всю жизнь курировал «псевдонаучные проекты»: сначала кибернетику, потом генетику... С середины семидесятых по начало девяностых был куратором от ЦК КПСС одного из управлений Одиннадцатого Главного¹.

– «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...» И он готов выложить нам по интересующему вопросу всю правду?

– Всей правды ни по одному вопросу не знает никто. А если знает, то не скажет. Но, будем надеяться, пояснит, откуда в курортной Бактрии столько... нечисти.

– «В заповедных и дремучих страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучей и в прохожих сеет страх...» Кто это может объяснить, кроме поэтов?

– Теоретики.

Аскеров тяжело вздохнул:

– В мире подлунном каких только тварей не водится. И все – Божьи. Если не выяснится обратное.

¹ Одиннадцатое Главное управление КГБ СССР курировало, кроме прочего, систему закрытых НИИ. (Здесь и далее примеч. авт.)

Глава 3

Леониду Ильичу Аркадину было крепко за семьдесят. И казалось очевидным: лучшие времена для него – в прошлом. Его двубортный костюм, сшитый у хорошего портного из отборного бостона, некогда сам по себе причислял его обладателя к элите и выдавал в нем если и не партийного – партийцы тех времен не позволяли даже малейшей политонии в расцветке, – да, не партийного, но все же большого государственного человека, скорее всего ученого. Такое мнение подтверждали и очки в старорежимной золотой оправе; возможно, в те же далекие поры они и придавали мужчине вид академического иерарха, но не теперь: и костюм, и оправа, и галстук – все это выглядело сейчас музейными экспонатами тридцатилетней давности, а сам Леонид Ильич смотрелся актеришкой из массовки, обряженным на скорую руку для съемок проходного сериала «про тех времён».

А еще Аркадин был сутуловат, хрящеват, с набрякшими мешками под глазами; тонкие губы его, казалось, навсегда сложились в гримаску стоической решимости: во что бы то ни стало переждать этот мир и перейти еще при этой жизни в следующий: полный значимости, размеренности и порядка.

Сергей Сергеевич Бобров встал, поприветствовал приглашенного Аркадина рукопожатием, представил их с Аскеровым друг другу и предложил всем переместиться за другой стол; вошедшая секретарь внесла поднос с чаем и сдобой; все расположились, и если бы не неистребимая казенность кабинета – современного, но словно налитанного жесткостью бывавших здесь людей, то компанию можно было бы принять за «группу товарищей», расположившихся для «чаепития» после заседания месткома. Стол украсила и бутылка дорогого «Хеннесси», извлеченная Сергеем Сергеевичем из генеральских «погребов». Все выпили. Разговор начал хозяин кабинета:

– Уважаемый Леонид Ильич, мы пригласили вас для того, чтобы...

– ...сообщить пренеприятное известие: Иосиф Виссарионович – жив! – неожиданно продолжил Аркадин фразу и развел тонкие губы в гримаске, должной бы обозначать улыбку, вот только... И Бобров, и Аскеров едва удержались, чтобы не переглянуться: им обоим показалось, что консультант... не вполне адекватен. Или – хочет показаться таким.

Повисла пауза, тягучая, как вишневое варенье. Аркадин при том чувствовал себя вполне комфортно: он откинулся на стуле и посматривал на молодежь, задорно поблескивая стеклами очков.

– Вижу, сообщение вас не заинтересовало. Как говаривал есаул Семибулатов в чеховском рассказе: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» Если вас интересует только то, что случается...

– Нас интересует то, что происходит, – перебил его Аскер. – В конкретном месте, в конкретное время, с конкретными людьми.

– Слова... – усмехнулся невесело Аркадин. – Сейчас и они утеряли прежний смысл. Цвет, обозначающий некогда надежду, теперь символизирует однополую любовь; понятие, означавшее прежде успех, теперь – синоним провала... – Неожиданно грустная маска арлекина покинула лицо престарелого чиновника, он улыбнулся широкой улыбкой, демонстрируя безукоризненной белизны фарфоровые резцы. – Итак, вы «попали»?! Если уж я здесь?

Переглядываться Бобров и Аскеров снова не стали, но подумали примерно одно: старичок не просто крепок: школа. Начинал учёнить еще при упомянутом вожде, а искусственно-естественный отбор в науке тогда был... Не сожрешь ближнего вместе с его теорией – он тебя сожрет. С чадами и домочадцами. И если у Аркадина хватало характера присматривать за такими особями полтора десятка лет...

– Давайте без долгих предисловий, Леонид Ильич. Нас интересует Бактрия.

– И только? – На лице Аркадина застыла странная улыбка, словно Бобров сказал что-то не вполне приличное. – Бактрия... Ну если конкретно и по существу... Никаких серьезных или существенных проектов Одиннадцатое Главное управление КГБ СССР там не проводило. Это официальное заявление.

– А хоровод чародеев конца восьмидесятых?

– Это не собственно бактрийский проект. Это всесоюзный. Если угодно – мировой.

– Массовая манипуляция сознанием? Прежде чем прокатать «на массах», экспериментировали на группах психически зависимых личностей?

– Все люди зависимы. Кто от чего. А что до манипуляции... Называйте так. То, что имеете в виду вы, и то, что подразумевают специалисты, – разные вещи. Ну а я... и раньше мало что помнил, а теперь – вообще ничего. Склероз, знаете ли.

– Леонид Ильич, если собственно бактрийских проектов не было, может, какой-то «пикник на обочине»? – спросил Аскеров.

– Ах как хорошо поставлен вопрос! Просто роскошно! – Лицо Аркадина просияло. – Никаких тайн, никаких обязательств, просто – пикник! Да, таковое было.

– Что именно?

– Вы знаете выражение «ядерный щит»? Так это не про него. И не про меч. – Аркадин хохотнул нервически: – Смешно. Некогда Альфред Нобель писал брату примерно следующее: он изобрел оружие страшной разрушительной силы, а поэтому скоро войны станут невозможны... И тут же добавил: беда лишь в том, что некие индивидуумы, одержимые идеями, могут овладеть таким оружием и тогда...

Все, все в мире повторяется... Отгремела Великая война – ее так называют везде в мире, только у нас Первой мировой, и – что? Самой модной после войны и эпидемии испанки, унесших семьдесят миллионов жизней европейцев, стала теория «лучей смерти»! И в кино обыгрывали, и в книгах, и обсуждали с живым таким интересом: они, лучи эти, насквозь людей прожигают или насовсем палят, до окалины?

Человек – вот корень всех бед и зол! Вот где нужно искать – в благих его намерениях, коими и вымощена дорога в преисподнюю!

Искали все. И немцы, и американцы, и китайцы, и мы.

Но – всех заворожил пожирающий пламень ядерного огня! И громадьё – планов, ресурсов, денег... Генеральские папахи, целые закрытые города, да что города – страны! – изготовляли прожигающее, взрывающееся, разметывающее все и вся пламя.

Обидно, знаете ли. Словно огонь – вовне человека, а не внутри его!

Аркадин замер, прикрыл веки, произнес едва слышно:

– А огонь всяко использовать можно: и дом согреть, и человека спалить.

Глава 4

И – снова он замолчал, глядя остановившимся взглядом прямо перед собой; глаза его повлажнели. Он вынул платочек, промокнул, пояснил:

– Сентиментален я стал. По-стариковски. Бывает.

– Леонид Ильич...

– К теме? – взбрыкнул он головой. – Да с дорогим нашим удовольствием! И так, о чем мы? Ну да, о странном. Что в этой жизни страннее ее самой?

Он снова замолчал и начал рассказывать, но совсем другим тоном и даже голосом, вроде бы несколько с ленцой или даже иронией, может быть, с некоей ностальгией о минувшем, может быть, вспоминая что-то совсем иное, к теме его рассказа вовсе не относящееся...

– Курируемый мною отдел управления занимался придурками. Самыми натуральными идиотами. Шизофрениками. Шаманами. Гуру. Никто к нам не рвался. Ни званий, ни звездочек, ни дивизий и закрытых городов в твоём подчинении – ничего...

Так вот, работал у нас – считалось, что в филиале Института биомолекулярной генетики Академии наук, – некий Игорь Олегович Мамонтов. На скромной должности старшего научного и завлаба. Кандидат – все недосуг ему было докторскую оформить. Умен был, начитан, несуразен: крупен, массивен телом, но не толст; челюсть бульдожья, голова в плечи втянута и притом чуть набок повернута эдак по-птичьей, словно он всегда и перед всеми извинялся за что... А взгляд – то детский, то – бычий; такой не засомневается и не свернет! Что еще? Костюм мешком. Ел много, жадно, без разбора, пил много, часто без вкуса и опьянения... Но говорить начнет – как заворачивает: заслушаешься! Перспективы такие выпишет, что куда там Сальвадору Дали!

А у нас его все, кто не знал, или за профорга, или вовсе за подопытного принимали... Вылитый Собакевич. Только пришибленный и велеречивый.

Генетика... Сейчас словцо и в большой моде, и на слуху... И – что? Люди злы и алчны: если чего и получают в руки, то сразу давай на свою пользу приспособливать, на самую что ни на есть потребу: не из нужды, а чтобы брюхо набивать поплотнее да лень свою тешить... «А вот мы вот этот ген поменяем и – нате вам, жучок колорадский картофелины не жрет: брезгует!» А человек не брезгует ничем: лишь бы нутро не урчало! А нутро с человеком непримиримо: ему потакать – душу забыть!

Расфилософствовался я? Не с кем поговорить. Совсем не с кем. Живу растением, в райцентрике, как в трясине, вот и... Но это и не словоблудие старческое: хочу, чтобы вы смысл уразумели! А смысл в том, что высокое искусство живет по законам природы. И наука должна им следовать неуклонно, а не сиюминутную пользу изыскивать! «Природа не храм, а мастерская...»

Аркадин замолчал, хохотнул:

– Помните анекдот? Звонок в дверь, тетка открывает, там стоит здоровенный, небритый, перегарный мужик и спрашивает эдак сипло: «Слесаря вызывали, ходить вам конём!» Она ему перепуганно: «Нет...» – «Гы... А то бы я вам наслесарил, ходить мене конём!» Вот эти – «слесарят»...

Некогда Рембрандт Харменс ван Рейн написал «Ночной дозор». И свет лег так, что некие заказчики сего группового портрета, понятно, не бургомистр Кок и не Виллем ван Рейтенбург, они-то в центре, в черном и золотом, – объявили художнику претензии: дескать, заплатили мы, как и остальные, а лица наши в тени остались... И стали требовать переписать их образы, добавить света. И что им ответил Рембрандт? «Я не могу изменить часть: тогда нужно переписывать все!»

Вот в чем истина! Нельзя изменить часть, изменится вся композиция, нельзя изменить один ген из трех с лишним миллиардов безнаказанно – изменится всё... Природа, как и искусство, не терпит пустоты и дисгармонии, а лукавые людишки, движимые сиюминутной «пользой», вносят в будущее такой разлад, что и не исправить... Потому что мыслят о себе: света им маловато...

Аркадин снова замолчал, замер на стуле, чуть раскачиваясь, и мысли его снова были далеко...

– Игорь Олегович Мамонтов. Занимался он, смешно сказать, евгеникой. Облагораживанием человеческого рода путем селекции и отбора. Прямо как профессор Преображенский. А смешно потому, что материала у него под рукой было – три дурдома на границе двух среднерусских областей. Два обычных, один – закрытого типа.

С Игорем Олеговичем мы не то что дружили – товариществовали. Он мне материалы для докторской подкинул, я ему – «крышу» от его непосредственного начальства, чтобы не теребило и результат не требовало: пусть занимается чистой наукой. Настоящая наука, как и искусство, требует досуга и неторопливости.

Мы и сформулировали с Игорем Олеговичем для «верхних людей» тему: готовит наш Мамонтов шпионов и диверсантов без страха, упрека и совести, разумеется. Процесс долгий, вложения – минимальные. Всех ракеты интересовали – крылатые, хвостатые и прочие. А про Мамонтова забыли.

Это сейчас о «генетическом допинге», «инженерии» и «суррогатных матерях» ведаёт даже ленивый. А тогда... Что уж он там и с чем комбинировал, не знаю, а в суррогатных матерях недостатка не было: недалече была женская колония, Мамонтов отбирал здоровых, лет двадцати пяти и безо всяких «отягчающих»: тогда ведь и за украденный мешок комбикорма какую девку деревенскую могли на пять лет законопатить! Злые языки судачили, что сам Мамонтов девок охаживает, безо всякой там генетики; только – наговоры это. Была у него своя любовь, да недолгая...

...А наука... Да, тогда все внове было. Уж не знаю, что именно искал наш Мамонт, чего добивался, а только выбраковку явную отсылал подальше, чтобы ученое свое самолюбие не тревожить.

– Детей?

– Да.

– В Бактрию?

– В нее. В дома для сирот с отклонениями в развитии. По крайней мере, таковыми их именуют все, что сами себя полагают нормальными.

Аркадин вздохнул, замолчал, Сергей Сергеевич предложил ему еще коньяку, тот кивнул с готовностью, пригубил, посмаковал послевкусие...

– Изысканный напиток. В какую посудину не разлей, знаток оценит. А большинство? На этикетку позарятся! Чтобы подороже, поэффектней!

Таковы люди: содержание меряют формой и считают ею! Так проще, понятнее, удобнее. Людям ведь как: не понять этот мир нужно, а под себя подмять! Подмять, подогнать, чтобы удобнее было пользоваться. Вот и упрощают... Пока не устроятся той пустоты и дикости, какую сами и образовали вокруг себя этими... упрощениями.

Глава 5

Аркадин выпил, помолчал, потом сказал тихо и глухо:

– В девяносто первом Мамонтов умер, – развел губы в вымученном оскале. – Сгорел на работе.

– Сердце?

– В прямом смысле сгорел. Остался на ночь в лаборатории, выпил крепко, уснул там же, с сигаретой, да еще и дверь задраена была: она в лаборатории, как в бомбоубежище. Сторож тревогу поднял часа в четыре утра: чего греха таить, сам спал, да и здание немаленькое... Короче – выгорело все. И труп Мамонтова обугленный на кушетке.

– Идентифицировали?

– А то. Ученые все же, генетическую экспертизу останков произвели. Ну и расследование. Копали, правда, не шибко: не ядерщик, не ракетчик – так, алкоголик со странностями. А по смерти Мамонта и тема заглохла, и филиальчик увял. Детишечки же, родившиеся от евгенических опытов нашего самородка и жившие под каким-никаким присмотром в райцентрике Заречье, в специализированном детдоме, тоже порастерялись: детский дом тот тогда же закрыли, финансировать нечем, а деток – кого куда: многих – в ту же Бактрию. Это кому повезло.

– А кому не повезло?

– Бог знает, где они ноне. Помню, девчужка по детдому бродила, маленькая еще, а красота в ней и совершенство будущее уже читались... Глаза – синие, густого такого цвета, будто небо апрельское... Где она, сирота, теперь? Если повезло – удочерили, если нет... Да и какими способностями наградил ее лукавый создатель Игорь Олегович Мамонтов?.. Как и остальных?.. Бог знает.

– Возможно, знает кто-то еще.

– Возможно, знает. Но не скажет. Если жить хочет.

– Какие-то бумаги, записи, дневники?

– Ничего не осталось. Нет, официальные записи Мамонтов вел, они есть в архивах, вы, пожалуй, и допуск получите, только – что в них? Слезы. Мамонтов заносил в отчеты лишь то, что сам считал нужным.

– И вы этому потакали.

– Гениям нужно потворствовать. Иначе результата не получишь. Даже побочного. На себе проверял.

– На себе? Это как?

Аркадин усмехнулся, достал из кармана металлическую монетку и без малейшего усилия свернул в трубочку, как тонкое тесто.

– Кочергу тоже можете?

– И лом узелком замотаю. Шестнадцать лет назад увидел я, как эдакие чудеса сам Мамонт проделывал, а он рукою только махнул: «Побочный результат». По правде сказать, меня это циркачество не сильно заволновало, да вот факт: сам Мамонт не болел никогда ничем, даже насморком паршивым, и детки его пробирочные, даром что странные, никогда не хворали. Слово за слово, он у меня крови шприц забрал, сказал – заходи через неделю. А я человек мнительный, все же поспрашивал его, что и как; он ответил что-то такое простое и путаное, что не понял я. Даром что доктор я и профессор, а все диссертации мои, сами понимаете, «холодные», я по другим делам там был представлен. Да и свой язык был у Мамонта, своя терминология, как у всякого гения. Короче, ввел он мне мою же кровь, безо всяких там добавок или еще чего, только «иммунообогащенную», так он выразился. И, по правде сказать, жизнь моя с той поры совсем в другое русло повернулась.

Мне ведь тогда уже лет немало было, с женой – никаких отношений, ну в смысле... А если где в доме отдыха какая попадется, так разок и – все, и полгода потом о позоре собственном вспоминаешь. А тут такое началось... С женой расстался, энергии – через край, какие-то бандюганы чуть меня под статью о малолетках в девяносто четвертом не развели да на квартиру не выставили! Не подумайте чего, по старому кодексу: тогда и семнадцатилетние малолетками считались. А вообще – разошелся! И – смешно сказать, разобрался я с теми флибустьерами сам, руки им попереломал, машины погнул! А потом – уехал из Москвы от греха, женился, двух детишек завел... Вот только...

– Что – только?

– Побочный результат. Раньше жил я размеренно, знал свое дело, знал, что правильно, что нет... А с той поры – то кураж на меня найдет – мир этот перевернуть вверх тормашками, то – тоска такая, хоть волком вой... То – страх беспричинный, что бежать надо, а куда – не знаю: земля-то круглая. Такие дела.

Сергей Сергеевич Бобров помолчал, глядя в одну точку. Спросил:

– Дело Мамонтова сохранилось?

– А как же.

– А остальное, значит, сгорело.

– Синим пламенем. И что теперь сделаешь? – Аркадин помолчал, закончил: – Чему быть, того уж не воротишь.

– И все-таки? Мамонтова могли убить... таким вот образом?

– Могли. Девяносто третий год. Вокруг филиала кто только не крутился. И новорожденные бизнесмены, и бандиты...

– Чего хотели?

– Как у классика: «Аптекарь, дай мне яда. Только чтобы смерть была легкой, как поцелуй...» Не для себя, конечно, старались. Для друзей-товарищей.

– Мамонтов мог поспособствовать?

– Яд? Для него это показалось бы слишком примитивным.

– Враги у него были?

– У кого в этом мире нет врагов? Завистников? А у гения... Да и детки его странные к девяносто третьему подросли. Самым старшим лет по четырнадцать. Даром что ненормальные... с точки зрения обывателей. И многие обладали острым умом и изобретательностью.

– Настолько, чтобы и «создателя» уработать? В смысле – «исполнить»? – спросил Аскеров.

– Да. Быть сиротой непонятного рода-племени – удел на всю жизнь. Кто простит? Ведь он их и талантами наделил, а гордыня с талантом рука об руку ходит. И куда кого выведет...

Сергей Сергеевич кивнул, размышляя о чем-то, спросил:

– Сам Мамонтов мог свою смерть инсценировать?

– Вам честно или откровенно?

– Правду.

– Мог. Мамонтов все мог. Вот только... Инсценировать... Зачем? Он и к жизни, и к смерти относился более чем философски. Да и... Как он выражался? «Собственная смерть спит в каждом человеке, пока тот ее не разбудит».

Разговор был исчерпан. Стороны раскланялись. Бобров и Аскеров остались вдвоем. Аскер долго сидел молча, потом налил себе коньяку, выпил, резюмировал:

– Не простой старик.

– А он простым казаться и не желал. Разве что речь... А впрочем, он ведь из крестьян. Да и живет последние полтора десятка лет в районном Демьяновске. Там еще и гэкают. Ты готов выехать в Бактрию, Аскер?

– Да.

– На душе небось кошки скребут?

– Тигры.

– Понимаю. Вопросов много. И к Аркадину, и к условно покойному Мамонтову. А времени нет. Да и... из этих детишек что теперь получилось, кто скажет...

– Дети есть дети. Не материал для опытов всяких там... – жестко отозвался Аскер. – Легенда вспомнилась. Про Гамельна-крысолова. Что играл себе на дудочке и – увел всех детей в преисподнюю. В бездну. – Замолчал надолго, спросил: – Как он сказал?

– Собственная смерть спит в каждом человеке, пока тот ее не разбудит.

– Я про жизнь.

– Про жизнь? Чему быть, того уж не воротишь.

Глава 6

Зима выдалась странной. Теплые ветры сквозняком гуляли по улицам, и, когда я выбирался из дома, было чувство, что зима просто-напросто проскользнула мимо, превратив темную слякотную осень в навязчивое мартовское марево.

А осень была темной и тянулась нескончаемо долго. Я же сначала предался ошутимо-приятной лени, валяясь днями на диване, перечитывая куски из попавшихся под руку книг и страдая ночи напролет какими-то сверхценными озарениями, превращавшимися под утро в кошмары. А осень и оцепенение все длились и длились, пока мне не сделалось совершенно ясно: мною овладела нудная, как суставная ломота, хандра. Дни напролет я бестолково бродил по квартире, сонный и вялый, со страхом ожидая ночи и бессонницы. А ночью... Вереницы событий, так и несостоявшихся в разметанной моей жизни, обступали явью, а ушедшее виделось иллюзией, призраком, миражом из чужой, словно никогда и не существовавшей жизни.

Я пытался занять себя играми, но мир виртуальных вымыслов был мне чужд; он казался плоским и одномерным, вернее... Умом я понимал, что чужая воля сконструировала этот мир как раз затем, чтобы я тонул в нем, измотанно вскидываясь по утрам, томимый бестолочью и беспокойством жизни настоящей... Но и жизнь за окном, более похожая на сонный и ватный морок днем и пустое пространство – ночью, сделалась мне столь же отвратительной.

...А ночами мне виделся город. Он был пустынным. Лишь какие-то тени мелькали порой в проулках и во дворах, густо занавешенных листвой пыльных деревьев, а я все брел и брел этими бесконечными вереницами улиц, и они были похожи одна на другую, и выхода не было... Я знал – где-то недалеко море и залитая солнцем набережная, но выйти не мог. И спросить было не у кого. Казалось, я шел так не один год и даже не один век.

Колодцы переулков были залиты солнечным светом, но и свет этот тонул в грязных выщербленных стенах, в серой штукатурке домов давно минувшего и ни для кого теперь уже не важного века... Наконец, я увидел двоих, одетых в какое-то тряпье, пригляделся: это были истертые патрицианские тоги с некогда пурпурной каймой по краю, которая стала теперь почти коричневой и напоминала засохшую кровь. И лица мужчин были одутловатыми, отеками, тусклые выцветшие взгляды их были пусты, и я понимал – ничего они мне не скажут и не посоветуют, и выбираться нужно самому.

И еще – слышалась музыка... Она была щемящей и словно резала сердце на части тонкой скрипичной струной, и накатывала боль и слезы, и хотелось прекратить эту сладкую муку...

А потом я просыпался. И сидел, сжигая сигарету за сигаретой и рассматривая собственное полужнакомое лицо в туманном витраже темного оконного стекла, не различая, ночь ли еще, утро или вновь наступившие сумерки, и понимая лишь, что все прошло мимо и я, Олег Дронов, все время гнался за скользкой где-то рядом жизнью, да так и разминулся с ней...

И – снова засыпал, и видел какого-то старца, склонившегося надо мною, и слышал его монотонный голос...

«Я знаю лучше других – нет, не то что ты думаешь, – как ты живешь. Или – не живешь. Для тебя это сейчас одно и то же. Тебе кажется, что жизнь кончилась, иссякла, что ты прошел уже все круги, что ты знаешь все и уже ничего не жаждешь, что даже выйти из дому для тебя мучительно тем, что ничего нового ты не встретишь, а старое – ушло, ушло навсегда... И ты понимаешь, что не жил вовсе, и боишься идти по тому же кругу, какой прошел, и хочешь выбраться из постылой колеи, и знаешь, что это с тобой уже было, и... ты постоянно думаешь

о смерти. Думаешь серьезно, как о данности. И знаешь, что это с тобою тоже было... Ты понял, почему ты мне нужен? Нет?

Не лукавь. Тебе нечего терять, кроме жизни, но жизнь свою ты не любишь, тяготишься ею, а к другой выбрести тебе боязно. Ты потерял надежду. На счастье, на признание, на свободу... «Что есть свобода?» – спросишь ты меня. Никто не скажет. Ты не любишь себя таким, какой ты есть, и эта нелюбовь тебя мучит. И – тоскуешь о юности. И о той, другой жизни, с которой ты разминулся...

Не тревожь себя. Все люди начинают любить собственную юность лишь тогда, когда она проходит. В те годы им слишком многого недостает – признания, благосостояния, успеха... И они даже не замечают, что именно тогда им принадлежал весь мир – целиком, без остатка, со всеми рассветами и закатами, со всеми океанами и пустынями, со всеми ветрами, штормами, звездами и стихиями, со всеми неутоленными и даже непознанными желаниями... Жизнь именно тогда была прекрасна и удивительна... Потому что была впереди.

Смирись. Ты непримирим в искании совершенства... И все же – смирись... смирись... смирись...»

И я снова просыпался. Вставал. Заваривал чай. Пролистывал очередной роман с сияющей обложкой и картонными героями. В их целлулоидных жизнях ничего не происходило. Впрочем, в жизни большинства людей тоже. Но люди делают вид, что происходит. Или уже произошло. Или – скоро произойдет. Без этого жизнь стала бы невозможна. И еще – мне все время вспоминалась фраза: «Так жить нельзя!» И – что? Как жить нельзя – знает всякий; кто скажет, как жить можно?

О, высокомерие живущих! Как все мы уверены в том, что у нас есть будущее! А как иначе? А иначе так: выяснится, что всю свою сознательно#бессознательную жизнь ты бежал по кругу за призраками и сражался с химерами собственных представлений о ней. А потому – будущего ни для кого нет?

...А будущего – словно нет.
И дремлет стынущий рассвет
На кряжистых рубцах рябины.
И прошлого щемящий цвет
Пурпурно-матов, как завет,
Перенесенный в тень чужбины.

Как липкий бред сквозь промельк бед,
Как горечь опустевших лет —
Седые клочья парусины
По смутной памяти моей.
Покорно зябнут меж ветвей
Ван Гога голые картины.

И тихо бродят по дворам
Подобно пойманным ворам
Не ведавшие моря птицы,
И ветер усмиряет бег,
И холодом смыкает снег
Мои усталые ресницы...

Но сон – воротит время вспять,
Чтоб в пламени свечи создать

Иные, вещие страницы —
Чтоб не угасла жизни нить,
Чтоб ночь смогла соединить
Любви и доблести зарницы².

Все ушедшее – мнимо. Но мы бережно храним его в душах своих – видением, миражом того, что было, и того, чего не было... И это неслучившееся минувшее с годами становится ярче и зримее, часто придавая нашей жизни тот смысл, какого она без этого вымысла была бы лишена. А в чем смысл? Не предавать прошлое, не потерять настоящее и – обрести будущее.

...И снова была ночь, и снова я засыпал и видел море. Море... Скопление солено-горьких вод... Слезы разлученных влюбленных... Неосознанное, почти болезненное влечение – к иным берегам, теплым, наполненным солнечным светом и пряным ароматом нездешних трав... Ко всему, что мы называем жизнью.

² Стихотворение Петра Катериничева.

Глава 7

В этой жизни все происходит вдруг. И когда темно вокруг, и поздняя осень, и слякоть, или когда зимняя вялая темень сковывает рассудок и воображение и ты перестаешь надеяться – нет, не надеяться даже, жажда – вот тогда все и происходит.

Звонок в дверь был столь робким, будто я ослышался. Но звонок повторился.

Открыл. На пороге стояла девушка на вид лет девятнадцати, в коротенькой дубленке и джинсах.

– Здравствуйте, Олег. Меня зовут Аня, – сказала она. – Я зайду?

Собирает подписи к выборам очередного депутата? Обычная студенческая подработка, но по одной они не ходят, а уж в квартиры не просятся и подавно. Сумбурная моя голова тут же выдала набор слоганов, подходящий для любой предвыборной: «Каждой женщине – по мужчине! Каждому мужчине – по квартире! Каждому лицу невнятной национальности – по морде! Оле-оле-оле-оле!!! И если не мы – то кто? И если не сейчас, то – когда? И если не здесь, то – где? Оле-оле-оле-оле!!!»

Девушка тем временем вошла в прихожую, остановилась в нерешительности. И я – замер! Такого мне не приходилось видеть никогда! Огромные глаза цвета моря были влажными и лучистыми, словно солнечный свет пронизывал их глубину... И лицо, и стать девушки были столь совершенны, что сама она могла бы показаться просто произведением искусства, если бы губы не кривились гримасками эмоций – неуверенности, растерянности, опаски, если бы щеки не розовели – от волнения или скрываемой душевной смуты... И еще мне подумалось вдруг, что откуда-то я ее непременно знаю... Видел где-то? Скорее – на одном из полотен старых мастеров. С горностаем.

И мне вдруг стало неловко и за полуторанедельную небритость, коей я даже не трудился придать форму, и вообще за все: за свое уныние, хандру, застоявшийся табачный перегар в квартире, за свое бездарное прошлое и даже за несостоявшееся будущее!

А отчего красавица Аня молчит и ни словом не поминает ни «Единую Гваделупу», ни «Демократический выбор Дукакиса»? Маркетинг? Почему тогда не предлагает подарка?

«... вот этот удобный пластиковый пакет – абсолютно бесплатно, а еще бесплатно мы предлагаем «мышь» нового поколения, а если вы доплатите всего две тысячи девятьсот девяносто девять долларов, то получите суперновый суперкомпьютер с уже встроенным телефоном, факсом, кофемолкой, мясорубкой, шейкером, кальяном, кафе, рестораном, гарсоном и девушкой для общения в свободном доступе...»

– Может быть, вы пригласите меня войти?

Нет, я точно растерялся. Если мне и не звонил никто больше месяца, то гостей в этой квартире я не видел уже... не пойми сколько лет. Впрочем, и сам я здесь гощу редко. Ну а если уж совсем по полной правде, то все мы – гости в этом мире и ничего тут...

– Извините, Олег, если я не вовремя...

Время... А что есть «время», как не категория случайного? И не мнимо ли тогда оно само? И что тогда означает «вовремя»?

Нет, самоистязательная рефлексия на протяжении полугода до добра никого еще не доводила! От полной тоски и безнадеги – к какой-то разудалой разухабистости в мыслях! Или – это и есть фрустрация? И что такое фрустрация с позиций субъективного детерминизма?

Я решительно тряхнул головой, сказал:

– Аня, давай на кухню, ставь чайник или джезве, я сейчас!

А сам в ванную и шевелюру – под ледяную струю! Вытер наскоро полотенцем, набросил тенниску и вышел уже через пару минут вполне бодрый.

- Извините, милая барышня, просто был не в себе.
- А в ком?
- Трудно сказать. То ли в себе прежнем, то ли в себе будущем.
- Хорошо, что я вас нашла. Я была права.
- Права? В чем?

Ни чайник не кипел, ни кофе не варился. Аня сидела на табурете неестественно прямо, словно решаясь на что-то. Потом открыла сумочку, выложила сверток:

- Вот.
- Что это?
- Деньги. Десять тысяч долларов. Аванс.
- Зачем деньги?
- Вам.
- Мне?

– Да. – Аня вынула из пачки сигарету, неловко чиркнула спичкой, прикурила, закашлялась, смутилась, даже покраснела. – Я вообще-то не курю, но...

– Ага, – только и нашелся я что сказать, поставил чайник, закурил сам, ополоснул заварной, засыпал щедро заварки, нашел две чашки, сахар и шоколад. Разлил, сел за стол напротив, повторил: – Ага. Кто ты такая, Аня?

- Учительница. Младших классов. Я знаю, вы сумеете...

Сумею – что? Может, ей аборт нужно сделать и она просто адрес перепутала? Но за такие деньги любой эскулап спроворит эту операцию всему педколлективу! Без учета пола, возраста и перенесенных на ногах беременностей!

Десять тысяч. Или она приняла меня за наемника? И решила сделать з а к а з? Перепутала дверь? Но имя-то назвала правильно.

- Что я должен суметь? – спросил я, глядя девушке в глаза прямо и жестко.

Она сжалась, как воробышек, побледнела, уткнулась в стол. И – молчала. Потому что молчание – золото.

- Так что тебе от меня нужно, девочка?
- Чтобы вы нашли моего приемного отца.
- Он пропал?
- Да.
- Почему ты решила, что я могу кого-то найти?
- Я понимаю, вы меня не помните и не можете помнить...
- Мы встречались раньше?
- Да. Четырнадцать лет назад. Мне было тогда семь.
- И ты меня запомнила?

– Обстоятельства были необычные. Я впервые в жизни поехала куда-то, а вы... Вы нас сопровождали из Загорья в Бактрию. Вы и одна девушка. Помните?

Глава 8

Я помнил. Девяносто третий год. Кажется, у Виктора Гюго есть такой роман. Девяносто третий год. Когда все преобразовывалось, переименовывалось, трещало по швам и целые отделы зависали в непонятном пространстве непонятных ведомств. Не говоря уже о людях. А я числился то ли в отставке, то ли выведенным за штат... Немудрено, что, когда меня ни с того ни с сего назначили на пару с Дашей Беловой сопровождать группу детей из специализированного детского дома в глубинке России в Крым, особого удивления ни у нее, ни у меня это не вызвало: сидят сиднем сотрудники, так занять хоть чем-то.

Поездка обещала быть не из трудных: с детьми была доктор-психиатр Альбина Викентьевна Павлова, красивая стройная женщина лет тридцати с небольшим; поразительно было то, что красота ее лица была словно отретушированной и не было в нем ни кокетства, ни обаяния, ни незащитности – всего того, что и привлекает мужчину в женщине. Приветливость ее была прохладна, как ноябрьский ветер, и более походила на снисходительное высокомерие. Недолго размышляя, я отнес сие к издержкам профессии... И – личной жизни. Ученая дама явно замужем никогда не была. Дети прозвали ее Герцогиня Альба, и ей это нравилось.

Еще был санитар Костя Косых, увалень лет двадцати восьми; на его счет никаких умозаключений у меня не появилось; некогда таких называли в моем дворе «амбал-вредитель»: большой, вечно сонный, трусоватый и не шибко толковый.

Мы являлись охраной. Предположительно, от злых хулиганов и поездной шпаны. Никаких других вводных мы не получили. А впрочем... Странные дети, странная поездка... Остатки роскоши Одиннадцатого Главного управления, какого-нибудь совсем замороженного отдела, так мы рассудили. Почему назначили нас, числящихся за Первым? Кто поймет душу начальства, особенно в период перетряски и кадровой чехарды: папахи бы на головах удержать да кресла под седалищами. Да какая нам разница? Как говаривал папановский герой, «сдал – принял – опись – протокол – отпечатки пальцев». И всех делов.

Шестеро детей, одна девочка и пять мальчиков, фамилии, как у многих сирот, Найденовы, и отчества одинаковые – Евгеньевичи. Они и двое взрослых заняли два купе. Мы с Дашей ехали как бы отдельно, с обычными советскими паспортами, причем своими, вдвоем в четырехместном купе, изображая супругов, обвыкших в поднадоевшем обоим гражданском браке и вяло двигающихся к югам – встрепенуть чувства-с. Никаких удостоверений, даже мнимых, никакого оружия.

Границу с Украиной перетекли спокойно; ночь, дети спали, мы – бодрствовали. Поезд в пути всего двадцать шесть часов; днем в очередь проспали часика по три и – хватит. Резонно предположив, что, какие бы несвязухи в стране ни происходили, раз нас выставили охраной, значит, дело нужно делать честно. Время от времени я выходил покурить – вовсе не из тяги к табаку, а исключительно посмотреть, все ли спокойно во вверенном вагоне. Было тихо, как на погосте. Август, но поезд шел полупустым: иссякли у людей сбережения в Причерноморье отдыхать. Проводники, два полутрезвых субъекта, активно работали «на карман», непрерывно подсаживая на полустанках пассажиров. Ближе к Крыму остановки стали частыми.

К двум пополудни спать захотелось неумолимо, как бывает всегда, когда длительное нервное напряжение не находит выхода. В психологии это называется «синдром отложенного действия». Ждешь, а чего – неясно. Ну да, несмотря на отсутствие всякой информации, мы – ждали. Так бывает – маешься непонятно отчего, и поскольку так прежде и со мной, и с Беловой не раз и не два в ранешней жизни случалось... А потому мы и решили поступить «по подобию», как формулировали древние, а потому – мудрые. Тем более ближе к трем маета сменилась крепким беспокойством, и, ни о чем более не думая и не рассуждая, мы соорудили на полках «куклы», худенькая Даша, нервно зевая, забралась в багажное для

чемоданов сверху и на мое замечание: «Ты там не усни...» – огрызнулась беззлобно: «Дрон, ты пробовал спать, сложившись вчетверо?»

А я двинул к проводнику: дескать, с бабой поругался, отпуск, выпить по-человечески не дает и вообще... С собою имел я бутылку армянского; проводник, которого никто никогда хорошим коньяком на службе не баловал, помягчел, выставил пару стаканчиков, и сели мы с ним гутарить за жизнь – по душам. За разговором я еще и «хрустами» прошуршал, выкупив у него же по тройной цене бутылку водки; проводник было поупирался, отказываясь от денег, но недолго. Скоро мы сидели уже старыми товарищами, хмельные и довольные; я водрузил себе на голову проводницкую фуражку, на плечи – пиджачок с погонами, благо напарник его смотрел четвертый сон в соседнем купе, и витийствовал на тему: «Как хорошо быть генералом», – в смысле проводником: и вино, и деньги, и тетки разные, и ни жены, ни тещи!

«Час волка» наступил, как и «мечталось», ближе к четырем. Поезд вдруг стал посреди ровной степи, а в вагон со стороны проводницкой вошли двое. Один, в гражданке, быстро прошел по коридору; второй, в форме старлея милиции, застрял в дверях проводницкого купе, окинул нас беглым взором, бросил коротко:

– Транспортная милиция. Проводим задержание опасного преступника.

Всяко бывает. И преступники опасные по поездом слоняются, и транспортная милиция их нет-нет да и задерживает, появляясь вот так вот в форме... с чужого плеча: пиджачишко лейтенантский сидел на парне как на быке сбруя, а под ним угадывался кевларовый броник. Во все можно было поверить, но вот в то, что транспортников ни с того ни с сего здешние власти оснастили иноземным кевларом? Да никогда!

Правая рука мнимого старлея была заведена за спину, а на нас он смотрел спокойно и скучно, как на покойников. Хорошо, хоть вползгляда: его занимало то, что происходило в коридоре. А там...

Сначала я услышал частые характерные выхлопы, треск пластмассовой обшивки, невнятный звон падающих гильз... Тот, что в гражданке, ничтоже сумняшеся палил сквозь дверь купе... Купе было ближним – как раз то, в котором осталась Даша Белова.

Глава 9

Мой собутыльник, набравшийся уже в полные лоскуты, неладное таки почуял, но картину битвы не интуичил; в проводнике пробудился вдруг начальник, он глянул мутным взором на ряженого старлея, служителя закона не опознал, забурчал пьяно, приподнялся с лавки, тот шагнул в купе, толкнул его обратно, добавив повелительно:

– Сидеть!

Левой я будто тисками прихватил руку старлея с оружием, кулак правой – жестко воткнул в пах. Тот открыл рот, но не издал ни звука – только сипение...

– Тихо... – прошептал я ему ласково. – Если повторю удар, оно тебе не понадобится. Уразумел?

Парень кивнул.

– И пистолетик выпусти...

Я взял оружие за ствол и одним ударом отправил нападавшего в беспамятство.

– Тихо сиди, а то убьют, – также увещательно прошептал я проводнику. – И этого – спеленанной чем-нибудь. Я его чуть прибил, но не до смерти.

– Это же... мент, – икнул Сережа.

– Зачем менту пистолет с глушителем? Вяжи, сказано! – рывкнул я тихо, но начальственно и – вышел в коридор.

Автоматчика в гражданке уже не было: дверца нашего купе была сдвинута, и он туда опрометчиво вошел. Ну да, как и мечталось: паренек выпустил полрожка из тишайшего чешского «скорпиона» в две «куклы», немудрено сооруженные нами на нижних полках из простыней, рюкзаков, матрасов и пары пакетов полиэтилена с кетчупом – «шоб кровь стэкала»... Нападавший лежал ничком: Белова «приласкала» его тяжелой рукоятью ножа по темечку. И ее самой в купе уже не было; завладев автоматом, она выпорхнула в оконце; темный силуэт девушки был почти невидим, и передвигалась она на редкость бесшумно по сухой траве у насыпи – к «уазику»-фургону, стоявшему у перегороженного шлагбаумом переезда; рукой она отмахнула мне, но я и сам понял: дети.

Еще раз быстро осмотрел коридор: никого. Пришедшая в голову мысль была простой и наивной, а потому, скорее всего, верной. Я подошел к одному из детских купе, прохрипел приглушенно:

– Закончили, открывайте.

Дверь чуть отошла в сторону, на ширину задвижки, я упер в косяк ногу и с силой толкнул... Санитар Костя меня узнал и сориентировался мгновенно: подхватил на руки семилетнюю Аню, прикрылся ею, приставил к шее девочки длинный препарационный скальпель, взвизгнул неожиданно высоким дискантом:

– Ни шагу, мля! Полосну!

Рука его подрагивала, скальпель чуть надрезал отточенным лезвием кожу девочки, и тоненький темный ручеек медленно заструился к ключице.

– Ствол – на пол! Живо!

Совершенно не представлял я себе внутренний мир санитара и оттого даже предполагать не мог, на что способен сей самородок... Если он и сам это знал. Я наклонился, осторожно положил пистолет и – чуть-чуть задержался в этой неловкой и неудобной позе. Костя повелся. Отбросил девчонку и рухнул на меня всей стопятнадцатикилограммовой массой, перехватив скальпель обратным хватом и желая полоснуть по шее уже меня...

Я подставил руку: в этой жизни всегда приходится чем-то жертвовать, а сам, вместо того чтобы сопротивляться навалившемуся телу, ушел вниз и – накрепко прихватил эскулапа за детородные уды... Скальпель со звоном выпал, Костя попытался достать руками мое

горло, а силушки детинушка был немереной, но – легче сказать, чем сделать, когда от боли не можешь даже вдохнуть, не то что крикнуть...

Он не выдержал, развел руки, чтобы попытаться хоть как-то глотнуть воздуха, я оттолкнул его в сторону и жестко впечатал локоть в кадык. Санитар опрокинулся на спину, засучил ногами; теперь уже я навалился на него и свел руки в удушающем приеме. Через минуту он затих. Я поднял голову, ринулся к девчонке:

– С тобою все нормально?

Анюта только кивнула. Я приподнял ее голову за подбородок: действительно, порез был пустячный. А вот мой рукав набух кровью: вену мне этот целитель слегка задел, благо через пиджак; да и скальпель – не боевой нож: режет строго поверхностно и по касательной.

– Вевочка какая-нибудь есть?

– Что? – переспросила Анюта.

– Вевочка.

– У меня есть шнурок... Даже два, – подал голос мальчик с именем Евгений, худой, долговязый, большеглазый, он походил на птицу-подранка, так и не успевшую улететь со своей стаей. Все отчего-то называли его на французский манер: Эжен.

– Давай.

Эжен выпростал капроновые шнурки из кроссовок, я не без труда перевернул бесчувственного санитаря на живот и накрепко спеленал – руки и, для верности, ноги тоже. Засунул в рот кляпом полотенце. Приподнялся, скомандовал детям:

– На верхние полки! Живо!

– Вы его убили? – спросила вдруг Анюта.

– Кого? – не сразу понял я.

– Дядю Костю.

– С чего бы я дохлого вязать стал, я же не сумасшедший, – попытался я пошутить и – смутился. Дети – из специального дома, и кто знает, сколько раз их такими словесами оскорбляли. Попробовал улыбнуться, надеясь, что улыбка моя мало походит на оскал. – Дышит. – Подумал и добавил строго: – Только вы его не развязывайте. – Подумал еще и добавил строже: – И всем – спать.

– У вас рукав от крови мокрый, – сказала девочка.

– Высохнет.

Шагнул в коридор, задвинул дверь купе. И тут же, оттолкнувшись от нее, как от пирса при нырянии, стал заваливаться по противоположной стеночке, веером рассылая из бесшумки безоболоченные пули – на вспышки выстрелов, что полыхали ровной газовой горелкой в дальнем конце коридора, на раструбе глушителя коротенького «скорпиона». Меня задело по ребрам справа, но стрелял я с левой и снял-таки нападавшего.

Тишина наступила внезапно. Звенящая в ушах латуню катящихся по полу откинутых гильз... И еще – была мелодия, едва слышимая, щемящая...

Из края в край вперед иду, и мой сурок со мною,
Под вечер кров себе найду, и мой сурок со мною...

Это Эжен играл на губной гармонике немудреный мотив Бетховена. А у меня вдруг разом, совсем не ко времени, защемило сердце: такой хрупкой и призрачной показалась вдруг жизнь. И не моя только, а... Да она такой и была.

Глава 10

Глянул за окно. Там стояла темень. Кромешная. И тишина.

Постучал в другое детское купе:

– Это Дронов. У вас все целы?

– Что такое произошло? Отчего шум? – раздался из-за двери голос Альбины Викентьевны.

– Пьяные озоруют. Распоясались. Детишек – на верхние полки и никому не открывать.

– И не собираюсь! – услышал я решительный ответ. Но дверь тут же отъехала в сторону, Альба смотрела так, словно жить ей осталось минуты... – Врешь ты, Олег. У тебя рукав кровью перемазан. Нас убьют, да?

Совершенно безотчетным движением я коснулся ладонью ее щеки, провел, сказал тихо:

– Не бойся, Аля... Все хорошо будет, – и – увидел в ее глазах такое смятение, будто... ее никто и никогда не любил, не ласкал, не защищал... Может, так оно и было?

На глазах Альбы блеснули слезинки, она прикусила губу, чтобы не расплакаться.

– Успокойся, девочка, все позади...

– А что – впереди?.. – беспомощно спросила она – и слезы потекли из глаз... Видно, поторопился я с выводами насчет ее высокомерия... И чем только люди не защищаются в этой жизни от других, кажущихся им чужими...

Услышав сзади шаги, я втолкнул Альбу в купе, задвинул дверь, обернулся резко, вскинул оружие.

– Полегче, Дрон! – По коридору шествовала Даша, на ходу замыкая проводничким ключом все купе подряд. В руке, стволом книзу – чужой автомат. – Ты ранен?

– Задело немного.

– Серьезно?

– Влегкую.

– Все живы?

– Да как сказать. Наши вроде все.

– Угу. А кто считает врагов? Их никогда не считают. И в сводках потерь всегда именуют трупами.

– Даша, с тобой все в порядке?

– Считаю, накатило не ко времени. Кто это играет?

– Эжен. Мальчик.

– «Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс...» Откуда у нас с тобою, Дрон, здесь столько врагов? А у детей?

– Сколько – столько?

– Нападавших было шестеро. Я убрала четверых. Ты двоих. На глушняк?

– Первого – нет.

– Проводник тебя «дополнил». Придушил со страху.

– Это он так сказал?

– Он сказать ничего не может. Только промычать. Проводил юношу в последний путь, в окошко скинул и полкило водочки укушал из горлышка. Такие дела. Даже завидно. «Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда...»

– Расслабься, Даша.

– А я и не напрягалась. Просто... Он когда-нибудь прекратит играть?

– Даша, он же...

– Больной? Ненормальный? Ты это хочешь сказать? А эти, что в вагон со стволами, здоровые? А мы с тобой?

Ни слова более не говоря, я зашел в наше разгромленное купе, выудил из-под стола флягу с разбавленным градусов до семидесяти спиртом, отвинтил пробку, протянул Беловой:

– Пей!

Та молча взяла, запрокинула голову и начала глотать, как воду... Струйка стекала по тонкой шее... Закашлялась, отвела, выдохнула хрипло:

– Это не водка.

– Водка. Только очень сибирская.

– А-а-а...

– Так что за бортом бронепоезда?

– Пять трупов, с проводничким если. Из нашего купе жмура я тоже под насыпь наладила. А того, в коридоре, давай на пару двигать, а? Утомилась я. Да и... Это раненых таскать легко. Трупы тяжелее. На девять граммов. И на одну смерть. «А на кладбище все спокойно – исключительная благодать...»

– Даша...

– Извини. Поезд стал после переезда в чистом поле. Может, по договоренке, может – стопорнули. Эти – на «уазике»-фургоне подъехали. Других машин нет. Вшестером. Один – за рулем был. За ним и остался.

– Наши дети, если бы удался захват, туда бы поместились. Вместе с нападавшими.

– Легко. Кто-то с этой стороны?

– Санитар Костя.

– Спеленал?

– Да.

– Дрон, кому нужно похищать сирот?

– Вопрос вопросов. Как и все остальное. Оружие нападавших, например. «Скорпионы» с глушителями просто так даже на Кавказе не купишь. Оружие... – повторил я, закончил: – И – запланированное отсутствие его у нас.

– Нас слили «сверху»... – сказала Даша.

– Не с самого, но...

Внезапно девушка сделала мне знак, застыла, метнулась ко входу в коридор, где бесчувственно лежал боевик в маске:

– Он живой.

– По-моему, я его в голову...

– Пуля по виску прошла. Контузия. Ну ты снайпер. Вильгельм Тель.

– Случайно.

– Случайно попал? Или не попал? «Кандалы» принеси, а?

Оружие нам брать запретили, а наручники мы захватили. Как и ножи. Что не запрещено...

Белова умело сковала пленного сзади, вдвоем мы его затащили в купе. Даша сдернула маску. Обычный мужик, лет около тридцати. Без особых примет. На нас он смотрел мутно: то ли не вполне отошел от контузии, то ли...

– Что, милый, просветишь нас, сырых? По какую малину вы к нам завадились? И не смотри на меня эдак глухо, девушка я непугливая, отвязанная, да еще и пьяная. Подумай расчетливо, как нам попонятнее разъяснить: кто, откуда, зачем. А то я расстроюсь. И осерчаю. Нервы, знаешь ли. – Закончив монолог, Даша посмотрела на меня: – Пора бы и ментам объявляться.

– Сопровождающим состав?

– Хотя бы. Что-то не торопятся. Никто не хочет становиться героем, а?

– Огневой контакт был тихий. Поезда по нынешним временам могут у каждого столба тормозить. Так что дрыхнут сейчас служивые, оба-двое, в бригадирском вагоне в четыре ноздри.

– Если не в доле.

– Если так.

– Как выпутываться станем? Инструкций не было. А старший – ты. Или думай, или приказывай.

Думать, собственно, нечего. Связи нет³. Документов, кроме собственных паспортов, нет. А пребывать легально в условно чужой стране с такими довесками... В милиции можно задержаться не надолго – навсегда. Ибо в наличии сотворенные пять жмуров невнятного происхождения, ну да их еще доказать надо, мало ли что под насыпью валяется... Пригоршни гильз по вагону и прочее – мелочовка, если прибраться усердно и в срок. Да и проводник молчать станет, как эстонская рыба.

Правда – еще пленный с мутным взором и санитар Костя Косых: этих хорошо бы разговаривать из нездорового любопытства да прикинуть, что день грядущий нам готовит, раз уж ночь выдалась такая огнестрельная... А еще – машинист, по какой-то причине стопорнувший поезд... А еще – шестеро детей на руках. И воспитатель Альбина Викентьевна. А в Бактрии должны встретить капитан СГБ Гнатюк и доктор Коновалов. Коим и велено передать детей с рук на руки согласно приказу.

– Выполняем задание. Доблестную милицию – пленяем. Потом – будет видно.

– Нарушаем по полной?

– Я же сказал: нежно. Без тяжких телесных.

– Вам бы все приказывать, мужчина, а слабой женщине в эдаких несвязухах каково?

С этими словами Белова запихала вафельное полотенце поглубже в пасть пленному, привязала того шнуром к поездной железке, для верности, подхватила автомат, бодро встала:

– «Шехерзада Степанна?» – «Я готова!»

– Погоди, накину что-нибудь.

– Ну да. А то прямо ходячая «кrrрровавая дrrррама»! А вообще – лучше бы за детишками приглядел. Ты, конечно, умный, но больно уж человечный! Прямо Ленин какой-то! В голову – и то вскользь попадаешь! А мог бы – бритвой по глазам! Не напрягайся, это юмор. И за служивых не беспокойся: я их не больно зарезу... Это тоже юмор. Сатира. Помнишь, были-таки мохнатые козлоногие существа... Сатиры. Козлы. Мужики, короче. С рогами, как все мужики. Ха... Похоже, от твоей «очень сибирской» мне похорошело. Усугубить, что ли?

– Прекрати.

– Что – прекрати?! Тошно мне, Дронов, до тоски! Этот мальчонка когда-нибудь на гармонике своей перестанет пиликать?!

– Красиво. «Последнее танго в Париже...»

– Все последнее – красиво. Потому что потом не остается ничего. – Белова помолчала, вздохнула. – И настроение такое, что... То ли плакать, то ли каяться... Не ко времени... – Даша замолчала, глядя прямо перед собой потерянно, тряхнула головой. – Была у меня в тех славных краях история... без продолжения. «Хороших нет вестей, дурные тут как тут – Анета влюблена...»⁴ Только – кому дело до бедной девушки? Никому. И никогда. Такие дела. Не ко времени.

³ Для подрастающего поколения: хоть это и сложно себе представить, не было в 93-м мобильных телефонов, пейджеров, а дозвониться до Москвы даже с крупной железнодорожной станции было весьма проблематично.

⁴ Из песни Михаила Щербакова «Анета».

– Музыка, любовь и покаяние всегда не ко времени. Они – вне его.

– Музыка – это то, что возвышает, возносит... А ребенок будто жалуется кому-то. Тому, кто не способен его расслышать. И играет так, словно хочет высушить остатки слез обо всем, что не сбылось и уже не сбудется в его жизни... И обо всем несбывшемся в нашей. Это душу пустыней делает. И не остается ничего, кроме боли.

Глава 11

Даша встряхнула волосами, спросила:

– Служивых будем огорчать или как?

– Придется.

– Я тебя порадую. – Белова выложила на столик три красных удостоверения. – Госбезопасность. Тутошня.

– У покойников реквизировала?

– Им больше не пригодятся. Липа, понятно, а все лучше, чем ничего. В ночном поезде темной ночью – сойдет за гербовую. Двинули?

– Ага.

– Какой вагон?

– Седьмой.

Бригадирский вагон спал, как и все остальные, только начальник поезда озабоченно переговаривался по рации с машинистом.

– Что там, папаша? Чего стоим? – спросил я.

– Да машинисту чтой-то привиделось.

– Травы тут навалом. Видно, скучно стало рулить, вот и раздербил косячок. Хорошо еще, к лесу не свернул.

– Не, он не такой. Серьезный. Просто какие-то хулиганы красный фонарь засветили. Обходческий. Он и стопорнулся: мало ли что. Доложил: на путях никого. Сейчас тронемся.

– Умом?

– А вы чего тут? Почему посреди ночи?

– Водочки бы... Мы с подругой в Москве как загрузились и вот – тока проснулись, нутро горит, освежиться бы.

– А ваш проводник чего?..

– Он уже освежился. До полной ясности.

– Не бригада, кубло змеиное!

– Начальник, хорош квадраты катать, ты водочки предложишь или как? – развязно вмешалась Даша. – А то нервные мы!

– Тетка правильно рассуждает. Нервные. Ты бы пошустрил, а то можно и по тывке схлопотать...

– Ну нервы-то мы лечим...

Обозленный и обеспокоенный неуважительным поведением нетрезвой парочки, начальник сделал пару шагов по коридору, постучал требовательно в купе:

– Васятко! Гейко! Отворяй! Тут по твоей части! Двоих полечить треба.

– У вас все прямо как в Совете министров! Бухло не паленое? – откликнулся я радостно.

– Щас почувешь.

Дверь распахнулась, в ней показался заспанный сержант в галифе, шлепанцах и кителе на голое тело. Позади, в полоске света, виднелось округлое женское бедро.

– Чего у тебя тут, Богданыч?

– Да вот... Напились, права качают... На штраф нарываються.

Заспанная, лоснящаяся физиономия сержанта расплылась на ширину плеч и, казалось, даже засияла эдаким засаленным лунным блином.

– Разберемся. – Он выпростал из-за спины дубинку, лениво шагнул прямо на меня...

Я ударил снизу в подбородок, резко развернувшись корпусом, и сержант тяжким мешком оплыл на пол.

– Мастерски, – похвалила Даша.

– Старался, – монотонно ответил я, схватил за лацкан начальника, дернул к себе, чувствительно приложив о косяк, произнес свистящим шепотом: – Госбезопасность. Спецоперация.

Белова сверкнула у него перед лицом удостоверением – достаточно, чтобы он прочел три буквы.

– Где второй?

– В соседнем. Спит.

– Как и этот?

– Не. Один. Хороший парень. Правильный.

– Почему они в разных купе?

– Так места навалом, а у Гейко, у Василия который, с девицей оказия сложилась, вот он и...

– Стучи.

Начальник боднул головой пространство, что должно было означать «знак согласия», деликатно постучал, когда отозвались, хотел что-то сказать, повинувшись моему поощрительному тычку, но запнулся, закашлялся, потом выговорил-таки, от волнения перейдя на украинский:

– Сашко... Видчини... Тут справа до тоби е.

За дверью послышался шум, она чуть отодвинулась, в проеме показалась лохматая голова и веснушчатое лицо паренька лет двадцати.

– Шо зробилось, Степан Богданович?

– Молодой-интересный, позолоти ручку, всю правду расскажу... – Хрупкая с виду, худощавая Белова выглядела куда моложе своих лет, да и свет был ночной, колеблющийся...

Тенью юркнула в купе, через пару минут объявилась:

– Уснул. И будет спать долго. А жить – еще дольше. – Ключом замкнула дверь, повернулась к проводнику: – Степан Богданович, ты не против, если мы тебя немножко свяжем?

– Так я же того, на службе...

– С сохранением зарплаты, конечно. Просто хлопотно будет. А так – полежишь себе в купе тихо, подремлешь. И, коли что, взятки с тебя гладки.

– А... не убьете? – севшим голосом спросил начальник.

– А зачем нам? – буднично ответила Даша, так, что даже у меня изморозь прошла по коже.

Служивых и начальника мы связали и закрыли в одном купе. Бригада была сборная, как нередко случается на дополнительных южных поездах; никто никого толком не знал; да и пили все как верблюды. Так что проваляются ребята до пункта назначения, только и всего. Жить будут. А уж долго и счастливо или наоборот, это кому как повезет. Дорога.

– «Меланхолия... ла-ла... мелодия...» – напела Даша. – Как заказывали: нежно, культурно, интеллигентно. Вот такая музыка.

Глава 12

С машинистом я потолковал. Все оказалось предельно просто: действительно, красный фонарь засветили, водила дисциплинированно остановился; в кабину забрался человек в кепочке на глаза, мелькнул удостоверением ГБ, что-то наплел и велел пятнадцать минут стоять, а потом трогать без дополнительного приглашения. И – никому ни полслова. Водила был человеком в годах, положительным и выполнил все точно и «по букве». А отличить поддельную ксиву от настоящей темной ноченькой не сразу сможет и тот, кто такие по работе при себе носит. Я ему авторитетно разъяснил разницу.

С санитаром Костей тоже все было ясно. По его словам, к нему подошли еще в Загорье, выдали на руки три тысячи долларов – сумма астрономическая, в том же Загорье целый дом тогда стоил «штуку» – и предложили посодействовать. Кто откажется? В Москве он позвонил из автомата, сообщил, что детишек охраняют двое, описал нас с Дашей и назвал номер купе. В Ельцове, прохаживаясь по перрону, бросил у оговоренной лавочки записку: дескать, все путем. Возможно, и кто-то сторонний для пущей верности контролировал нашу поездку, но мельком и вполглаза, чтобы не светиться. Не, если бы он знал, что будет такая поножовщина, то никогда бы и ни за какие... На кого был похож тот, что передавал деньги? На мужика средних лет средней наружности. Вроде меня. Но неприметней.

Пленный, назвавшийся Александром Ивановичем Чепалко, рассудил здраво: раз уж у такой «сладкой парочки», как мы с Беловой, хватило навыка и решимости уложить под откос всю компанию, то и с ним мы китайский церемониал воссоздавать не станем и запросто можем списать «до кучи». А потому колелся искренне и сказал пусть и припорошенную эмоциями и страхом, но правду: их группу «чисто спортсменов», ранее не судимых, в количестве шести голов, нанял Некто; из пацанов его никто не видел, с ним общался их главный, Владлен Комаров, по прозвищу Туча; он же получил оружие и задаток – десяточку зелени; цель – перебить немудреную охрану и вывезти детей в Борисово, небольшой райцентрик по соседству; там должен был состояться обмен «товар – деньги» и окончательный расчет. Обещали сколько? Пятьдесят косых. Почему так дорого за беспризорных? Раз платят, значит, им сильно надо, что себе голову забивать? Теперь вот и выяснилось почему: охраной у деток оказались злые волки. Мы с Дашей.

Комаров вряд ли что кому уже скажет, потому как упокоен автоматной очередью девушкой в черном по фамилии Белова.

В принципе было над чем работать, но не нам с Дашей, а системно, начиная с Загорья, и тем, кто был посвящен: что за детки, почему и как. Альбина Викентьевна Павлова обошла наши осторожные наводящие сущим молчанием, сославшись на «пятую поправку», сиречь обязательство о неразглашении. Подписка есть подписка, дело строгое: тут не усовестить.

А нас, в свете происшедшего, озаботила другая проблема, даже три: во-первых, как-то нас встретят теперь бывшие коллеги, а ноне – абсолютно независимые охоронцы безопасности другой страны. Во-вторых, не достанут ли деток уже в Бактрии ретивые охотники, и, в-третьих, как нам самим «экстрадироваться» из всей этой передраги грамотно и без потерь. То, что нас высадили «на подставу», – было ясно. Как и то, что «слив» был из Москвы или Загорья, но не с самого верхнего этажа и не со среднего даже: меня определили как «думного», Дашу вообще приняли за «канцелярскую кнопку», а никак не за «физика»⁵, коим капитан Белова на самом деле являлась. Да и зарядили не профессионалов и даже не «обстрелянную молодежь», дембельнутую, скажем, из Карабаха или Абхазии, а «чисто спортсменов»,

⁵ «Ф и з и к и» – бойцы группы силового прикрытия (*сленг*).

бывавших в передрягах с «чисто пацанами», но не более. И о чем это нам говорит? О недостатке возможностей нападавшей стороны. И информационных, и иных.

Ближе к утру, исходя из вышеизложенного, мы с Дашей обговорили линию поведения со встречающими, будущий отчет здешним и своим, да и все остальное, так сказать, на живую нитку... А там – как покатит. «Дорогие вы мои, планы выполнимые, рядом с ними мнимые – пунктиром...» Ибо... Претворение планов в жизнь нередко изничтожает саму жизнь начисто и без остатка.

А встреча произошла буднично и серо. Капитан Саша Гнатюк оказался человеком строгим и серьезным. Перекинувшись парой фраз, нашли мы и общих знакомых по Кандагару, и даже вспомнили, что краем соприкасались в одной операции... И стало почти уютно. Наш рассказ о происшедшем искренне удивил Гнатюка; он тут же распорядился относительно пленных, вздохнул тяжело и резонно порешил:

– Разместим детей, а там – видно будет.

Пленных отправили в СИЗО, детей – в санаторий. Всем сестрам по серьгам. Признаться, до наших ночных приключений ни здешним безопасникам, ни местной милиции дела никакого особого не было; менты быстро идентифицировали стрельбу в поезде как разбойное нападение с целью ограбления пассажиров организованной преступной группой местного авторитета Владлена Комарова по прозвищу Туча, ну а поскольку он был уже в местах очень отдаленных, служивые мирно готовились закатать оставшемуся в живых Чепалко десяточку... Но не вышло: выяснилось, что в камере, сонный, навернулся он с верхней шконки, да неудачно: головой о цемент. Насмерть.

Санитар Костя Косых, оклемавшись от происшедшего, ушел в полную несознанку – и выходило так, что нужно его выпускать по истечении трех суток; но он тоже не вышел; отравился чем-то, расхворался животом, попал «на больничку» и уже там, неловко оскользнувшись на свежeweымытом полу, ударился затылком и – тоже помрэ.

Мы с Беловой напряглись крепко, но все происшедшее нам разъяснил Саша Гнатюк: державший эти места авторитет Сергей Петрович Мамонов, по прозвищу Мамон, сам был детдомовский, считал похищение детей и обиды сиротам гнусным «западло» и устроил показательный процесс переправки виновных в мир иной, чтоб и своим неповадно было, и подрастающие волчата крепко усвоили: что есть «понятия» и кто в доме хозяин. Капитан Гнатюк решил даже устроить нам через третьи лица встречу с Мамоном, как сам он сформулировал, «чтобы вопросов не возникало»; когда мы резонно усомнились в самой возможности такой встречи, Саша ответил просто:

– Бактрия – маленький город. Очень. Да и для Мамона и вы и я не волки – солдаты.

Сергей Петрович Мамонов был с нами по-деловому краток:

– За детками здесь я присмотрю. Никто не обидит. У нас детей не обижают. Был один деятель, решил малолеток к радостям жизни приобщить... Теперь его приобщают. На всю катушку. – Закурил, добавил: – Вы там со своими разберитесь.

Мы обещали постараться. А что еще мы могли пообещать? Расследовать «по полной»? Для себя мы с Дашей решили время от времени позванивать и в санаторий, и капитану, и по паре других телефонов.

А вообще, поскольку было у нас, по согласованию с Москвой, на все про все «пять дней у моря», мы и использовали это время, общаясь с детишками. К нам особенно привязались Аня и Эжен: мы брали их с собой на море, и ребятишки резвились в волнах прибоя, как маленькие дельфины. Так прошло три дня. А к концу четвертого Аня простудилась, слегла с ангиной, и, когда мы зашли за детьми ранним утром, она лежала в постели с перемотанным горлом, и Альбина Викентьевна смотрела на нас с укоризной. Я смотался за фруктами и сладостями, а когда вернулся, Аня сказала, глядя на меня громадными синими глазами:

– Жаль, что ты уезжаешь. И взять меня с собой не сможешь, я знаю. Потому что сам не знаешь, где будешь завтра. Ты не беспокойся, я выздоровлю. Это я просто от грусти расхворалась. Пройдет.

Даша Белова в это время общалась с Павловой. Когда я вышел, она сидела на ступеньках санатория и курила, спаливая треть сигареты в одну затяжку.

– Что-то случилось? – спросил я.

– Альба злая, как мегера.

– Чего?

– Аня ее старухой обозвала. Та аж взвилась, нацелилась девчонке пощечину отвесить...

Ну я и посмотрела на фрау Альбу. Добрым таким взглядом. Потом взяла под локоток и попросила отойти, потолковать.

– И что она?

– Чуть не обмочилась со страху. Ты же знаешь, я умею быть... страшноватой.

– И она испугалась?

– Запомнила. Не так мало. Потом затараторила, что это особые дети, и... «сами понимаете, для них мы все, взрослые, глубокие старцы, просто обидно, когда... да и с личной жизнью у нас, ученых...». Как будто у нас, «работников ножа и топора», все в шоколаде.

– Просто несчастная она барышня, – сказал я серьезно.

– Ага. Одинокая, – поддакнула в тон Даша. – Все мы – несчастные. Потому что вас, мужиков, еще терпеть надо, а без вас – вроде вообще не жизнь – не нужные никому...

– Аминь. Альба сказала что-то по существу?

– Молчала как рыба. А вообще... Головы бы им всем пооткрутить.

– Кому?

– Кое-что я из нее выудила. Тэк скээть, «чиста па дружбе» и – во избежание. – Даша прикурила новую сигарету. – Из детей гениев делали. Какими-то генетическими мутациями. Что получилось и что получится, никто не скажет. Ученые. Мне бы их на сутки, я бы их выучила. Или надолго, или – навсегда. Ладно, пойдем. Тошно.

Когда мы вышли с территории санатория, Белова спросила:

– Напиться нет желания, Дрон?

– Нет.

– А я напьюсь. Занавешу окна в номере и напьюсь. Втихую. Вглухую. В одиночестве. Как и положено бойцу насквозь невидимого фронта. Есть такая потребность.

– А не боишься?..

– Темноты? Сумерек? Призраков ночи? Я сама – тень, Дронов, чего мне бояться тех, которые...

И она ушла. А мое настроение было смутным, и я пошел бродить по Бактрии. И – заблудился. Белым днем.

Глава 13

Какие бы ни были все минувшие ночи, а августовское утро, сияющее золотом выжженной травы и напоенное запахом близкого моря, начисто стирало воспоминание о них как о чем-то мнимом, вымышленном, книжном, а если и происходившем, то в какой-то другой, далекой отсюда реальности.

Все ушедшее – мнимо. Но оно присутствует в нашей жизни всем несбывшимся в ней и заставляет нас замирать порою горько и мятежно... И все несвершенное обступает явью, и хочется забросить свою жизнь на макушку самого большого дерева в подлунном мире и уйти – к мерному рокоту прибоя, к дыханию океана, к тишине глубин, туда, где нет суеты, где покой бесконечен и ты можешь почувствовать себя тем, что ты есть, – пылинкой мироздания, вмещающей в себя всю вселенную, – без гордыни, без самомнения, без желания достижения, и вокруг – только солнце, вода, песок и то, что делает пространство беспредельным, а жизнь – вечной.

Так думал я и шел себе вдоль побережья, пока не забрел в старый город. Было пусто и безлюдно. Похожие друг на друга проулки, дворы, густо занавешенные листвой пыльных деревьев, и мне уже казалось, что бреду я этими бесконечными вереницами улиц по кругу и выхода нет... Я знал – где-то невдалеке море и залитая солнцем набережная, но выйти не мог. И спросить было не у кого. Казалось, я шел так не один год и даже не один век.

Колодцы переулков были залиты солнечным светом, но и свет этот тонул в грязных выщербленных стенах, в серой штукатурке домов давно минувшего и ни для кого теперь уже не важного века... Наконец, я увидел двоих, одетых в какое-то тряпье, грязное, истертое, покрытое бурными пятнами, похожими на запекающуюся кровь... И лица этих двоих были одутловатыми, отеками, тусклые выцветшие взгляды их были пусты, и я понял – ничего они мне не скажут и не посоветуют, и выбиратья нужно самому.

И еще – слышалась музыка... Она была щемящей и словно резала сердце на части тонкой скрипичной струной, и накатывали боль и слезы, и хотелось прекратить эту сладкую муку... И я пошел на звуки и сразу, вдруг оказался на уложенной брусчаткой площади. Слева высился тяжелый костел, справа – православный храм, выстроенный с модными причудами начала двадцатого века, чуть поодаль – мечеть. На площади стоял мальчик с флейтой и играл незамысловатую мелодию Бетховена:

Кусочки хлеба нам дарят, и мой сурок со мною,
И вот я сыт, и вот я рад – и мой сурок со мною...

Перед Эженом скукожилась мятая картонная коробочка; в ней тускло блестели монеты. Эжен поднял лицо, узнал меня, перестал играть, сказал:

– Здравствуйте.

– Здравствуй. Ты что здесь?

– Играю вот. – Огляделся, добавил: – Хорошо здесь, тепло.

– Подзаработать решил?

– Играть люблю. А деньги нужны, – сказал Эжен вполне рассудительно, как взрослый. – Я Анете хочу платье купить. Здесь красиво очень. И она красивая. Нужно платье. Такое, какого ни у кого нет. Чтобы она была как принцесса.

– А себе?

– Себе скрипку. Только долго копить нужно. Чтобы настоящую.

– Ты где играть учился, Эжен?

– Нигде. Я всегда играл. А Анета всегда рисует. Когда мы вырастем, то поженимся. И уедем.

– Далеко?

– Искать родителей. Они нас потеряли. А мы их найдем. Ничего, что они старые уже будут. Даже лучше. Мы им будем помогать. Потому что жизнь – злая.

– Злая?

– Ага. Особенно зимой. Потому что зимой холодно. И темно. Здесь, может быть, добрее, только я не думаю...

– А люди?

– Люди – всякие. Вы с Дашей – хорошие, только потерянные. Как мы с Аней. Словно вас бросили и вам некуда вернуться. Я заметил: у многих людей теперь глаза переменялись: словно всем стало некуда вернуться.

– И давно?

– Давно. Когда я совсем маленький был, тоже играл. У нас, в Загорье. Люди отводили взгляды и давали кто что может. Им было совестно, что им есть куда возвращаться, а таким, как я, – нет.

– Теперь не отводят?

– Теперь они словно тяготятся... Или тем местом, в котором живут, или самой жизнью. Я их узнаю.

– Узнаешь?

– Да. По взглядам. Жалко их. – Эжен замолчал надолго, потом сказал: – Музыка лучше всего. Можно закрыть глаза и улететь далеко-далеко, в прекрасные страны, где все счастливы и беззаботны. Если бы я только смог...

– Что?..

– Сделать так, чтобы люди оказались в своих снах, самых красивых, где все их близкие живы, и там, где много тепла и солнца и где все веселы... А я буду играть, играть, играть... И тогда они смогут остаться.

– В снах?

– Да.

– А ты? Где будешь ты?

– Здесь. Я же нужен здесь.

Эжен кивнул сам себе, поднес флейту к губам и заиграл мелодию старинной баллады, немного нервную, щемящую, тревожащую... И звуки становились все тише, когда, оставив мальчику монету, я уходил дальше и дальше от брусчатой площади к набережной, и шум прибоя уже почти заглушал ее, а я вдруг, неожиданно для себя, стал напевать слова:

Все – не ново, все – не вечно,
Все продлится бесконечно,
Оправданием – тоска.
Все беспечно, все конечно,
Все стремится быстротечно
К упрощенности песка.

Все стремительно и ярко —
В ожидании подарка
Дремлют сумерки окрест.
И начальственно и важно
По туману стынет влажно
Истукана правый перст.

Ну а я бегу по стуже
Никому уже не нужен —
В сердце – искренняя даль.
Все законно. Все нормально.
Все бездарно и формально —
Вот такая вот печаль.

Все закончено. Забудьте.
Если прав – не обессудьте,
Не судите сгоряча.
Я чуть-чуть побуду тихо,
И отступит ваше лихо,
И затеплится свеча.

Ворожу и чуть не плачу,
Не могу прожить иначе,
И – иначе не могу,
Подарю вам эту тайну
И уйду от вас печальный —
В королевскую пургу.

Вот и все. Договорились.
Посмеялись, прослезились,
Обнялись и – разошлись.
И – разъехались. Прощайте.
Добрый словом поминайте
Неслучившуюся жизнь⁶.

⁶ Стихотворение Петра Катериничева «Монолог провинциального актера».

Глава 14

Дорога. Мы снова были в дороге. И сидели с Дашей в двухместном купе, попивая вино. Позади остался юг, море, впереди... Кто ведает, что впереди?..

– Не знаю, что это за город... И что со мною творится... Или – это просто старость, Дронов? – Даша Белова была взвинчена, но не пьяна. Или ее опьянение было таким, что просто перестало ощущаться?

– Старость, – кивнул я. – Глубокая.

– Как омут.

– Даша, перестань...

– Что перестать, Олег? Плакать? Тосковать? Жить? Жить можно перестать, а если – не жила вовсе?.. Мне тридцать лет и... Ничего нет. Ничего, ничего в жизни не было и все уже прошло. Мимо меня. Все нормальные женские радости, все слезы, все беспокойства – а как там муж, не загулял ли, а как дети, здоровы ли, а как свекровь – все брюзжит и ворчит... Все прошло мимо. Все. Мне тридцать лет, Олег. И хочется дома, семьи, детей... А что у меня? Однокомнатная в четыре стены, где тоскливо так, что волчице зимней лунной полночью веселее!

– Ты ведь выбрала когда-то...

– Дронов, ты большой совсем мальчик, неужели ты до сих пор думаешь, что мы в этой жизни выбираем хоть что-то? Дороги, города, людей? Просто... Вернее, не просто...

Ладно, расскажу. Мне было пятнадцать. И я влюбилась. Влюбилась – не то слово... Полюбила, как любили, наверное, пять веков назад или семь – безудержно, страстно... И Володька мой был без ума от меня! Владимир! Владеющий миром! И мы были уверены тогда, что мир этот принадлежит нам, и не просто как все молодые – всецело! И – не нужен был ему весь этот мир без меня, как и мне без него!

Ты понимаешь? Не важно. Когда тебе было девятнадцать, ты воспринимал мир так же, на веру, так вспомни...

Мой Володя в девятнадцать ушел служить. Легко ушел. Мастер спорта по самбо, он был человеком исключительной твердости духа – поверь мне уж на слово, я за эти годы всего повидала и могу судить... Вернее, не судить... Кому мы можем быть судьями и кто – нам?

А у него был Афганистан. Полтора года он писал мне письма. О том, как строят для местных жителей дорогу. Хотя тогда ни для кого уже не секрет был: воевали там всюду, под Кандагаром... А потом – в отпуск приехал. На десять суток. С орденом Красной Звезды. И мы – поженились. Не знаю, что подействовало: или он обаял всех работниц ЗАГСа, или боевой орденом, или он нарисовал справку, что я беременна двойней... Не знаю. Но мы распи-сались через три дня после подачи заявления. Я была счастлива. Ты не представляешь, как мне все завидовали. Да. Я была счастлива.

...Эти десять суток мы не расставались вовсе. А в последний день небо словно про-рвало. Дождь лил и лил, а мы сидели в его маленькой комнатке под самой крышей и слу-шали, как капли стучат по жести... И по листьям... И воздух был такой, что хотелось его пить, и жажда была такая, что... И еще – была музыка... Много музыки... А я все плакала и плакала... И не могла остановиться.

Он уехал утром, когда я спала. Когда проснулась, на столе лежала записка: «Долгие проводы – лишние слезы. Осталось всего три месяца. И мы будем вместе всегда».

Никогда не говори «всегда»! Никогда и никому! Ничего в этом мире не может быть навсегда! В слове «всегда» есть что-то от вечности, а кому подвластна вечность?

Он не вернулся. Пропал без вести. Есть в этом какое-то лукавство: когда отводят глаза и говорят с тобой, то ли как со вдовой, то ли как с женой предателя... Так продолжалось

три месяца, пока... Пока не выяснилось: он погиб в плену, но перед этим пытался бежать, сняв четверых охранявших его «духов»... Его поймали раненым. И казнили. Жестоко. В назидание другим.

Мне было семнадцать. Я заканчивала школу. Последний класс. Десятый. «За собою двери школы тихо затворю...» Ко мне приехал его товарищ и рассказал все. О том, как нашли базу моджахедов, о том, как захватили пленных и кассету с записью. Они же любят все снимать... Я увидела эту кассету пару лет назад. Хорошо, что не тогда. Тогда я бы не выдержала: наложила на себя руки. Не смогла бы поверить, что люди могут быть зверьем настолько... А так – он просто рассказывал. Смягчая все. Я слушала – кажется, его Николаем звали, слушала и – не слышала. Мне проще было жить с этим «без вести». Я верила, что Володя жив просто потому, что ему никак нельзя было умирать... одному. Без меня. А Николай сказал так: «Теперь тебе придется жить без него. Время лечит все. И тебя вылечит».

Я не поверила. Теперь знаю, что это правда, а тогда...

Что тебе еще рассказать, Дронов? Кем я была в той, другой жизни? Кроме того, что студентка, комсомолка и просто красавица? Я училась музыке и играла на фортепиано. Закончила английскую школу с золотой медалью. Французский выучила в совершенстве факультативно. Стала кандидатом в мастера по художественной гимнастике и тайно, как все тогда, осваивала карате в «подпольном» зале при обществе «Самбо-70». Мой папа преподавал в МГИМО, мама работала в «Интуристе». Оценил? И когда я сказала, что хочу поступать в Высшую школу КГБ, родители сначала долго молчали, потом... Потом отнеслись философски: почему нет?

Родители меня любили. И не так, как порой родители любят детей «для себя»: или стань такой, как мы желаем, или ты – плохая дочь. Нет. Мои любили меня для меня. Старались обеспечить как можно большую свободу выбора пути в жизни и причем – никак не ломая и не ограничивая. И еще... Полагаю, они подумали, что, обучаясь на курсе, где девчонки считанные единицы, я забуду – нет, не Володю, забуду свою боль и научусь жить дальше.

«За собою двери школы тихо затворю, эту первую потерю я с тобой делю...» Слишком велика была моя потеря, и разделить ее мне было не с кем. Все пять лет я только училась. Нет. Я не только училась. Я жаждала стать лучшей и превзойти всех. Умом я понимала уже тогда, что в определенных вещах – стратегическом мышлении или разработке идеи операции – я никогда не превзойду лучших из вас, мужчин: вы не соревнуетесь друг с другом, вы соперничаете с Богом в жажде совершенствования мира, вернее, самые неумные из вас стремятся выдохнуть из себя то, чем Господь одарил, будь то гений или отвага – часто вместе с жизнью... Но в таком специфическом искусстве, как оперативная разведка, женщине никогда не будет равных, если она сумеет преодолеть страх или забыть его.

Вот страха у меня и не было, как и безрассудства. Я была словно Жанна д'Арк, вот только мечтой моей, предназначением, сделалось не спасение страны, народа и короны, а месть. Вернее... Я даже не знаю, как это определить... Холодная, расчетливая ярость, вот что заледенело в душе моей... Мне тогда казалось, насовсем.

Я была хороша во всем. Языки, огневые контакты, рукопашка, шифры, работа по вербовке, работа на воздухе... И мне досталась Европа. Тихая, сонная Европа. Я изнывала там, но понимала, если сморожу что-то, то меня отошлют вовсе не в Афган – в какой-нибудь Оскол-18 третьим помощником второго заместителя по режиму.

Мы работали «на обеспечении». Все складывалось хорошо. Но мне не хватало действия. И я постепенно, после командировок, стала «срываться». Решила намеренно «портить анкету». Но так, чтобы, как в песне пелось, «никто не догадался...».

Знаешь, когда красивая девушка бродит в одиночку в самых стремных трущобах Москвы, к ней пристанут непременно. И вот тут с нападавшими я не церемонилась. Отвя-

зывалась по полной. Но воспитание в «вышке» – уже как безусловный рефлекс! Я исчезала всегда до того, как приезжала милиция «подбирать раненых».

Не знаю, что со мною творилось. Как и сейчас. Ребята за глаза меня прозвали Эль-эль. Элли. Ледяная леди.

Внешне я была успешна. Вот только... Внутри все бунтовало. Словно я жила не свою жизнь, чужую... Лишь изредка оттаивала – мне вдруг становилось ясно, что прошлое – это прошлое и, как бы ни было там хорошо, его не вернуть и в него не вернуться... Но... Так уж заведено в жизни: веселые и беспроблемные девушки находят себе улыбчивых и беспроблемных парней, я же... Один, другой, третий... Троих мне хватило. С лихвой. И я снова стала Элли.

И еще – концерты. На них я снова становилась сама собой. Только в концертные залы ходить не любила: музыка будит в каждом то, что мы порой даже не подозреваем в себе... И я могу плакать или смеяться... К еде и напиткам, как и к одежде, я почти равнодушна, зато стереосистема у меня дома... Таких в Союзе не было, наверное, ни у кого. И стереосистема, и студия звукозаписи...

А работа... Меня послали... в одну западную страну. Надолго. И я – там влюбилась. Seriously. По-настоящему. Ведь ни ненавистью, ни мстостью люди жить не могут – только любовью. А когда нет любви – ничего нет.

Глава 15

Его тоже звали Эжен. Он был совсем не похож на Володьку и – совершенно такой же. Вернее, Володька стал бы таким, если бы... вырос. Повзрослел. Возмужал. Нет, не внешне... Просто... Такие мужчины, как Эжен, там встречаются так же редко, как и у нас. Да. Я влюбилась. И хуже всего... Я не просто начала строить планы. Я начала строить жизнь. Свою жизнь.

Все закончилось скверно. Меня вычислил некий тип из внешней контрразведки, отозвал в Союз спешно, под угрозой принудительной эвакуации и сопутствующих мероприятий...

В Союзе уже вытанцовывала перестройка... «Школа танцев Соломона Фляра... Две шага налево, две шага направо, шаг вперед и две назад...» Вспоминаешь? А в Конторе время словно замерло в гулком монолите гранитных стен и пустынях коридоров. Сначала генеральский разнос, потом партсобрание, потом «разбор полетов», потом снова партсобрание... Это уже другая песня: «И вот на партсобрании об нем все говорят – морально разложившийся – коленками назад!» Ну а я, значит, «разложившаяся». И даже «жившаяся». Кстати, сейчас тот генерал сделался видным демократом, подался в стан «вероятных друзей» и сочиняет мемуары. Сука.

Короче, складывалось все так, что расстрелять – мало, уволить – много. Зато послать... Да и ребята, что со мной работали, служебные отзывы написали такие – к Герою представлять можно, жаль, не за что. И вот ведь как бывает: осуществляются мечты, когда ты этого уже и не жаждешь!

Меня понизили. И послали. В Афган. Типа «охранником» одного нашего «специалиста по строительству туннелей»: «духи» в горы зарылись, у них там и лаборатории по производству героина были, и схроны с оружием, только подобраться...

Вот там – и на ловца... Сначала встретился капитан, что был лейтенантом, Володька у него в разведвзводе служил. И – кассета объявилась. Капитан тот не хотел показывать, да я ему просто сказала: «Девочка я давно взрослая». Он покачал головой, оставил кассету и вышел.

Взрослая-то я была взрослая, да, как выяснилось, не очень. Коньяку вылакала бутылку, не помогло, пришел капитан, принес «косяк». Не взяло. Еще один. И – провалилась.

Утром ходила как мумия из пирамиды. Но выяснить имечко того полевого садиста, какой всем командовал и остался жив, не преминула. Звался он просто: Али Мансур. Псевдоним. Имени не знал никто. Но фото имелось.

Короче, пошли мы в горы, к этим катакомбам душманским подбираться. Кишлаки похожие один на другой. Люди похожие. А ребята местные конторские давно агентуру имели; ты знаешь, как с нашими на войне говорить. Я и говорила – по-свойски. Помочь не обещали, но помогли. Да. Али Мансур зарылся в тех же катакомбах. Когда у спеца все было готово, группа пошла. И – нарвалась на засаду. Кинжальный огонь, ребята потеряли двоих, отошли. А мы со спецом и двумя бойцами, так сказать, «закатились». Помнишь анекдот про русского, пустую комнату и два титановых шарика? Когда он один сломал, другой потерял? Вот мы и потерялись в этих пещерах. Оставалось только что-нибудь поломать.

Трое суток провели в кромешной темноте. Сухпаек да по фляге воды. Комфортно. Ждали, пока устаканится все. Устаканилось. Угомонились «духи». В схроне им хорошо жилось: гору ту ни один снаряд, ни одна ракета на зуб не брала, а героина там – миллионов на шестьдесят было схоронено. Так что сидели и кайфовали.

Пока мы не объявились. Шли тихо, охрану снимали «в ножи», продвигаясь по коридорам. Вышли на свежий воздух: тот Мансур даром что «полевой», а комфорт любил: обу-

строил себе на плато хижинку со «спутником», четырьмя наложницами и прочими буржуйскими благами. Даже зиндан у него там был: скучал мужинка сильно, от скуки – развлекался с пленными афганцами, тонус, так сказать, бодрил. Зверь. Хотя... Как у классика?.. «Ведь даже лютей зверь имеет жалость. Я жалости лишен. Так я – не зверь!»

Объявились мы свирепо. Стволы у нас были тихие, охрану положили, одного подранка оставили; «зачитали права», чтобы мужчина осознал, как он попал! Нужен был план схрона, ходов там немерено, а нам бы эту базу грамотно рвануть, «отправить в ставку Духонина», как говаривали праотцы наши... Ребята собрались с тем Мансуром беседовать, да я сама вызвалась: дескать, сумею мужчину разговорить, потому как языками владею. А Мансур обколотый был, смотрел высокомерно, отвечал дерзко, на побои со стороны моих соратников реагировал вяло... А скополамин или пентонал в полевых условиях на душу наркомана и иноверца мог бы подействовать непредсказуемо. Ребята и согласились: делай, девушка, как знаешь, а мы покурим пойдем.

И начала я с тем Мансуром беседовать. Предки у него из местных баев были, так что английский он разумел, как родной... Спешить было некуда. Дождалась первого кумара, только азиатов, ты знаешь, корчит не сильно, так, легкая тревога... Вот и взялась я эту тревогу усиливать. Некогда прочла я средневековое китайское руководство о «медленных казнях»; не на китайском, понятно, перевод наши еще в тридцать пятом столмачили «для служебного пользования», вот я и воспользовалась, расширила кругозор. И стала вдумчиво Мансуру эту увлекательную книжку пересказывать, честно назвавшись вдовой умученного им солдатика... Он не вспомнил: много душ погубил. Но и его душонку в ихний рай я отпускать не собиралась... Был у меня на такой случай энзэ заныкан – натуральный шмат сала, желтое, прогорклое, долго в подсумке томилось. Так что сначала я ему растолковала, как и что с ним сделаю согласно китайской методике – а они, право слово, выдумщики, даже рыбу любят поджарить слегка и кушать, но чтобы еще ротик открывала и жабрами двигала. Веселый народ. Но не все. Да. Сначала растолковала. А потом сообщила, что будет с его бранными останками при посредстве означенного сала.

Через пару часов губы его тряслись, глаза метались, оставалось натурализма добавить к его разыгравшемуся воображению: немного боли и крови в существенном для него месте... Совсем чуть. И он рассказал и то, что знал, и то, что забыл. План, ясное дело, начертил. Ну а потом... Вызвала я его раненого нукера, представилась по-взрослому и коротко и внятно ему объяснила, как в том фильме: если не хочешь принять смерть долгую-лютую, подари такую своему хозяину. А тебя я не больно зарежу.

Потом... Нет, не стала смотреть, вышла. Нукер знал, что ему делать. И делал старательно: страх перед хозяином, который он носил в себе всю жизнь, нашел выход в жестоких изысках. Прошло не меньше двух часов. Когда я вошла, Мансур умирал; умирал и слуга: удовлетворив свою месть, он вскрыл себе артерию и в мутнеющих его зрачках читалось торжество.

Сначала я ничего не чувствовала. Нужно было работать. Разметывать этот змеиный схрон пластитом. Специалист указал точки экстримумов, мы заложили взрывчатку, и скоро вся эта фабричка вместе со взрывчаткой, зельем и массой человекоподобных превратилась в пыль. Гора выровнялась, спрессовав вырытые людьми-кротами туннели. Ушли мы легко. Некому было нас задерживать.

Ну а дальше... За самовольство и самоуправство, выраженное в умерщвлении главаря «духов», мне полагалось взыскание. За успешно проведенную операцию – награда. Поскольку сослать меня дальше войны было некуда, то и... И взыскание зависло, и награда затерялась.

И – как мне было дальше жить? Мечь – это блюдо, которое подают холодным. Так, кажется, говорят сицилийцы. Я не сицилийка. Что со мною было? Сальери пушкинский ска-

зал: «Как будто тяжкий совершил я долг...» Настолько тяжкий, что жить сделалось незачем. Совсем. Как в анекдоте: «В больницу была доставлена пациентка с покалеченной ногой. Нogu удалось спасти. Пациентку – нет».

Словно кончилось все. А вокруг была война и ничего, кроме войны. Там я и осталась. И все никак не могу вернуться. Может быть, потому, что мне некуда возвращаться? И не к кому? В этом все дело?

Как мне жить? Или не жить? И что мне хотел сказать этот мальчик своей музыкой? «Не жаль Анеты, флейты жаль, хотя что флейта? – бывший клен и всё...»⁷

Так уж устроено: если это твоя жизнь, и только твоя, то она не только заслоняет собою все остальные жизни, но – весь мир. И когда пелена – цели, стремления или боли – спадает, ты оказываешься в чужом и чуждом тебе пространстве, которое ты не признаешь своим и даже не можешь узнать.

...Девяносто третий год. Октябрь. Московский Белый дом, черный от гари. Год несостоявшейся войны. «Я все равно паду на той, на той единственной гражданской...» Романтизация гибели? После девяносто третьего я стал не просто редкой птицей, а еще и вольной. Что случилось с Дашей, не знаю.

Девяносто третий год. Кажется, у Виктора Гюго был такой роман. Прошло... Сколько лет? И разве можно измерить жизнь временем? Ведь время – это всего лишь то, чем мы его заполняем. И сейчас отчетливо видно, каким пустым и бездарным оно было для меня, каким мучительным, полным призраков несвершенного и иллюзий несостоявшегося... Наверное, как у всех.

...Порой бывают дни – проснешься поздно,
И – словно опоздал уже на век.
И сердце бьется трепетно и слезно,
А за окном – лишь бурый мятый снег,

Истоптанный подошвами прохожих.
Они прошли – и прошлое прошло.
Беспутство лет приворожило зло,
Усталость бед припорошило ложью.

А я бреду – с чужбины на чужбину,
И нет нигде приюта и тепла,
Лишь равнодушьем полудневым спины
И холодом полуночным тела.

Вокруг – хмельное море праздных вин,
И никому никто уже не нужен,

⁷ Из песни Михаила Щербакова «Анета».

И горек сок заснеженных рябин,
И мой полет над молчаливой стужей

Так одинок, так искренен и тих,
Как жажда утра и неспетый стих⁸.

И я, наверное, как и все, полжизни провел взаперти – боясь своих желаний, эмоций, любви – именно потому, что порою переставал понимать окружающий мир и – узнавать его.

⁸ Стихотворение Петра Катериничева.

Глава 16

Прошлое... Оно никуда не исчезает и материализуется порой вот так, звонком в дверь, девушкой Аней, потерявшей приемного отца и... Если, конечно, это та Аня.

Все мои воспоминания, как часто бывает, пронеслись скорой и хаотичной раскадровкой; чашку кофе я выпил и сигарету выкурил в совершенном молчании. Когда я посмотрел на Аню, она сказала:

– У тебя было такое лицо, Олег... словно что-то мучит и не дает покоя... Так всегда бывает, когда вспоминаешь прошлое?

– По-разному. У тебя по-другому?

– У меня совсем немного прошлого. Недавнее – спокойно, давнее... В давнем столько белых пятен...

– ...и черных дыр. С детьми ты говоришь так же?

– Как?

– Штампами.

– Штampы? Это – заезженные выражения, да?

– Ага, – кивнул я, присматриваясь к девушке. Она не производила впечатления тупой или тугодумной. Глаза ясные, улыбка... Да ладно, была бы она «негрой преклонных годов», вряд ли я пригласил ее в квартиру и угощал кофе. Ведь большую часть времени мы не видим своего отражения, а любуясь молодыми и красивыми, и сами себя бессознательно представляем такими, какими были когда-то.

– Просто... я читала много, но бессистемно, – смутилась Аня. – Да и преподаю я на английском.

– Специальная школа?

– Обычная. Primary school.

– Новые русские?

– Откуда там русские...

– Подожди, Аня, ты где теперь живешь?

– В Аделаиде, штат Южная Австралия.

– Ого!

– Да. В девяносто пятом, мне тогда было девять, меня удочерили Мэри и Дэвид Дэниэлс. Так что я – Анета Дэниэлс.

– Гражданка Австралии?

– Да.

– Не понимаю.

– Что именно?

– Почему ты не обратишься в милицию? Там есть специальная служба, занимающаяся преступлениями против иностранцев. И их пропажами. Работают ребята профессионально и быстро.

– Но он пропал не в Москве.

– По дороге?

– В Бактрии.

– И что это меняет? У соседей – подобная. Если в Бактрии нет отделения, то в Симферополе – точно.

– Я туда обращалась. И никто там особенно не заволновался.

– Он давно пропал?

– Два дня. Сегодня – третий.

– Ну...

– Вот видишь. И ты подумал о том же. Дескать, загулял папашка на югах, и всех делов. А в той милиции еще и смотрели на меня так, словно я Дэвиду не дочь, а любовница. Короче, суесться они не станут, я так поняла. Да и не до этого им теперь. Делят должности и меркуют, как бы «крыши» свои удержать.

– Понятно. И все-таки...

– Тут есть еще один нюанс. Мой отец, Дэвид Дэниэлс, гражданин Нигерии. Кто станет напрягаться, разыскивая нигерийца?

– Чего гражданин?

– Нигерии. Это в Африке.

– Я в курсе.

– Просто Нигерию все путают с Нигером. А это – другая страна.

– Столица Нигерии – Абуджа, а Нигера – Ниамей.

– Ты знаешь. Это редкость теперь.

– Когда-то был образованным.

– Не прибедняйся. Я читала твои статьи. В Интернете.

– Я с ранней осени ничего не писал.

– Творческий кризис?

Как бы ей объяснить... Неясное будущее, несостоявшееся прошлое, несуществующее настоящее – чем все это назвать? Кризис? Путь будет кризис.

– Как ты меня нашла?

– Через редакцию. Представилась сотрудником «Глоб интернешнл». Сказала, что хочу заказать тебе обзорную статью об особенностях российской экономики.

– И тебе дали адрес?

– Нет. Просили оставить свои координаты. Обещали, что со мною свяжутся. Сказали, что у них есть куда более опытные журналисты. И очень интересовались размерами гонорара.

– А ты – что?

– Пошла в бухгалтерию. Подарила девочкам по флакончику хороших французских духов. Изложила просьбу. Они справились по ведомостям на оплату и дали твой адрес.

– Разумно.

– Я вообще – разумная девушка.

– Твой приемный отец – тоже?

– Тоже. Только не называй его, пожалуйста, приемным. Другого у меня все равно никогда не было.

– Извини. Вопрос можно?

– Конечно.

– Я так и не понял: чем твоему папе паспорт с кенгуру разонравился?

– Он никогда не был гражданином Австралии.

– Так он что, африканец?

– Да нет же! Он природный англичанин. И был гражданином Великобритании. Когда-то ходил матросом на торговых судах. Познакомился с Мэри, женился и остался жить в Австралии. Они прожили вместе почти двадцать лет, детей у них не было. И они решили кого-то усыновить. Или удочерить. Они нашли меня – через какую-то фирму, занимающуюся усыновлением русских детей иностранцами. Проблем особых не было: девяносто пятый год, да и... Мы ведь вроде... не вполне здоровые... считались. Так что... Вот и вся история. А работал он в компании «Дженерал моторс». Агентом по продаже автомобилей.

– А чем ему Англия так не угодила, что он стал нигерийцем?

– Его дед, тоже Дэвид, почти всю жизнь провел в Африке. В Нигерии у него были плантации кофе или еще чего, я даже не знаю точно. Сеть ресторанов. Парки междугородных

автобусов. Много другого разного. Дед умер. И завещал все Дэвиду. Но, чтобы вступить в права наследства, по нигерийским законам, ему необходимо было принять гражданство этой страны. А двойного гражданства их законодательство не предусматривает.

– Во что оценивается наследство?

– В четверть национального дохода Нигерии.

– Париж стоит мессы. Он стал миллионером?

– Мультимиллионером. Миллионами исчисляется ежегодная рента. Но, чтобы получать хороший доход, нужно жить в Нигерии и всем этим заниматься. Воруют. Да и выборы... Коррупция. К тому же, как он рассказывал, в том бизнесе много «побочного»...

– Контрабанда оружия? Алмазов? Поставка наемников?

– Мне папа ничего такого не говорил. – Лицо Ани сделалось жестким. – Просто был озабочен тем, как идут дела. И хотел продать все. И вел уже переговоры, это я знаю.

– В Нигерии он часто бывал?

– Один раз. Когда получал гражданство и вступал в права наследства.

– А в Бактрию как попал? Ты привезла?

– Нет. Скорее это я с ним увязалась. Все-таки город пусть и не очень счастливого, но детства. А папа Дэвид, еще когда был моряком, увлекся коллекционированием разных редкостей. В основном монет. Потом это стало даже больше чем увлечением. Страстью. И когда появились деньги, папа занялся этим серьезно.

– Нумизматикой?

– Ну не только... Скорее антиквариатом.

Антиквариат. Второй в мире, после оборота наркотиков, теневой бизнес. Мое благодушие постепенно исчезало. По крайней мере, тревогу девушки я понимал. У папы Дэниэлса было по меньшей мере две причины, чтобы пропасть безвозвратно. И – насовсем.

Глава 17

Ане я этого говорить не стал.

– Папа стал много читать: о предметах старины, но преимущественно о монетах, медалях, знаках оплаты... И даже участвовать в аукционах. Понятно, через маклеров. Из Аделаиды он не выезжал. Наверное, путешествия у него ассоциировались с работой. А потому по натуре он стал домосед.

– Как он в Бактрию выбрался, домосед?

– Ему пришло письмо. По электронике. В котором предлагалось купить чрезвычайно редкую и дорогую монету. Но он уже тогда заявил, что цена – ничто по сравнению с редкостью. И реальной стоимостью. Он просто загорелся! Две подобные есть в музеях, но не такие. Эта – уникал. Не монета даже – медальон, знак особой жреческой власти какого-то забытого теперь культа. Отлитая из самородного сплава золота и серебра в единственном экземпляре. Кто-то предлагал ее частным порядком. И оплату просил наличными.

– Велик ли гонорар?

– Триста пятьдесят тысяч американских долларов.

– А реальная стоимость?

– Папа не говорил, но я справлялась через Интернет... Она может стоить в десять раз больше. Это если по-скромному.

– Поэтому требование наличных и не насторожило Дэниэла?

– Ты считаешь, он решил просто нажиться?

– Почему нет? Тысяча процентов прибыли – хороший бизнес.

– Папа не такой.

– Возможно. Он не опасался, что сделка будет незаконной?

– В смысле – наличные, без налогов?

– В том числе. Да и монета могла оказаться краденой.

– Никким образом. Она никогда не числилась ни за одним музеем.

– Она могла быть украдена у частного лица.

– Все могло быть. Но, думаю, папа со всем разобрался бы на месте.

– Он склонен к нарушениям закона?

– Совсем нет. Но разве здесь есть закон?

– Местами.

– Вот именно, местами.

– По крайней мере, монету он собирался вывозить нелегально. Ничего не нарушишь – ничего не достигнешь.

– Что ты этим хочешь сказать, Олег? Что Дэвид...

– Это я по жизни. Нарушить нужно, как минимум, собственное душевное равновесие. «Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...»

– Люди к старости придумывают прожитым «бесцельным годам» оправдания и мотивировки, способные сделать жизнь значимой и полной глубокого смысла. Без этого и жить, и умирать было бы невмоготу.

– Тот, кого я процитировал, умер молодым. Значит, Дэвид Дэниэлс не слишком опасался карающей десницы закона?

– С чего? Он много читал о вашей стране.

«О вашей стране». Ну да. Что девочке Ане дала «наша страна»? Сиротство, детский дом, клеймо если и не сумасшедшей, то и не вполне нормальной?

– Бактрия теперь – в другой.

– И в чем особая разница? «Внизу – власть тьмы, а наверху – тьма власти».

– Почему Дэвид не поручил переговоры и саму встречу – довольно рискованную, если он много читал о нашей стране, – кому-то еще? Теперь он достаточно богатый человек, чтобы позволить себе это.

Губы Ани тронула полуулыбка.

– Богатый человек... Это только название. По крайней мере, для папы Дэвида. Он ничуть не изменился ни в привычках, ни в пристрастиях. Нет, по настоянию мамы мы купили особняк в Брисбанае, у самого моря, но были там всего раз или два. А перебраться – так и не решились. Привыкли к Аделаиде. А еще – выкупили у соседей участок, расширили дом и построили большой бассейн с подсветкой и фонтанами. Мама Мэри всегда о таком мечтала. Да и – трудно меняться, наверное, когда тебе шестьдесят два.

– Мэри столько же?

– Пятьдесят восемь.

– Я полагал, они моложе.

– И время, и возраст в этой стране и в Австралии – разные. Я здесь встречала сорокалетних стариков. А там шестьдесят два – расцвет для мужчины. Да и Мэри – веселая и очень обаятельная.

– И к богатству непривычная...

– Разве к нему нужно привыкать? Просто человек получает иную степень свободы, только и всего.

– Дело за малым. Распорядиться этой свободой. Дэвид приехал в Бактрию с крупной суммой наличных?

– Нет, конечно. Сейчас же не восемнадцатый век и он не граф Монте-Кристо. Но, по его словам, продавец выдвинул условия, что будет встречаться и разговаривать лично с ним. Если бы они сошлись в цене и монета оказалась подлинной, папа нашел бы способ, как снять деньги со счетов и расплатиться. Он умный.

– А как рассчитывали вывозить антикварный шедевр?

– Просто. При въезде на мне была цепочка с кулоном в виде монеты из сплава золота и серебра. При выезде – почти такая же, только и всего.

– Это ты сама придумала?

– Нет. Дэвид.

– Выходит, у него был опыт в таких делах?

– Дронов, это все в кино показывают!

– Резонно, – согласился я. – Аня, а почему ты называешь Дэниэлса то Дэвидом, то папой?

– Так уж сложилось. Пока... он не пропал, я называла его Дэвидом. А маму – Мэри. А вот теперь... Ты ведь найдешь его, Олег?

Я чуть было не ляпнул: «Живого или мертвого?» Сдержался. Хотя – почему нет? Завалять чужого миллионера у нас проще, чем яйцо облупить; предположим, кто-то претендовал на нигерийское наследство, помимо Дэвида, кто-то из тамошних авторитетов уже и лапу положил на смутный и разноплановый бизнес дедушки Дэниэлса... Да вот незадача: наследный принц объявился, но объявился в самой Нигерии лишь однажды и – был таков. А если уж начались торги, этот кто-то мог решить резонно: зачем платить, если можно все сграбастать «насухую». Безвозмездно. Даром, значит. А крымского киллера в такие мелкие детали можно было и не посвящать: кого отстреливает и зачем. Да их никогда и не посвящают. Вот только к чему такой огород городить? В той же Австралии шлепнуть – и вся недолга. Если, конечно, папа Дэниэлс на самом деле в недавнем прошлом был незамысловатым коммивояжером, а не в дедушку пошел: тот, видать, по всяким гешефтам был дока.

Второе – антиквариат. Возможно, для дочери Ани папа – белый и пушистый, как чукотский песец. А на деле – жесткий теневой воротила антикварного рынка. Тогда – совсем другие кадрили вытанцовываются.

Версия третья – по порядку, но не по значению. Крупной суммы денег при Дэниэлсе не было; но крупной – по меркам его самого и его дочери... Ведь выложила же Аня бестрепетной рукой тугую пачку баксов передо мною на стол... Ну, предположим, я от природы излучаю рыцарское благородство и внушаю красавицам полное доверие – с таким и в раскладушку можно лечь бестрепетно, естественно, если между нами, согласно кодексу «Бусидо», будет меч, а меня перед этим хорошенько накачают сакэ... И то – не факт.

Для нищего и сухарь – бублик. И за сумму в десять тысяч долларов, да что десять тысяч – за пять бумажек с Франклином, крымские доходы папу Дэниэлса могли утопить в мелком месте, на кусочки порезать и катранам скормить!

Есть и еще соображения. Как в анекдоте: приходит юная девчушка к врачу и заявляет: «Доктор, у меня две проблемы! Во первых, я така-а-а-я нимфетка! С утра имею секс с соседом, потом – с другим соседом, потом – с бригадой водопроводчиков, потом, по дороге в школу, с водителями автобуса, троллейбуса и асфальтоукладчика, потом – с учителями истории, физики и труда, потом...» Устав от перечислений после второго десятка, эскулап спрашивает: «А в чем вторая проблема, милочка?» – «Я – жуткая лгунья!»

Мне почему-то вспомнилось, что сопровождали мы Аню и других детей из странного специализированного детского дома для детей-сирот с отклонениями в психике... То ли гениями, то ли... И что, если Аня... Хотя пока все в ее рассказе – связно и логично. Кроме одного.

– Мне вот что неясно, Аня. Ведь если бы десяточку зелени ты предложила какому-нибудь инспектору карного розыска, сиречь розыска уголовного – в Симферополе или Бактрии, твоего папу не просто бросились бы искать со всем рвением, тщанием и азартом, его бы уже нашли!

– Перед поездкой нас инструктировали. И предупредили, что за взятку здесь могут посадить в тюрьму. Даже если взятку вымогают негласные сотрудники органов с целью сфабриковать уголовное дело.

– И ты – испугалась? А как же – «девушка самостоятельная»?

– Олег, тебе нужно было самому там побывать, в той милицейской конторке! Опухший от пьянства капитан, его взгляд, липкий, раздевающий, его «всепонимание», когда я заявила, что пропал мой отец Дэвид Дэниэлс, его брезгливость, когда он узнал, что Дэниэлс «нигериец»... Да, я испугалась! Да если бы я ему эту десятку засветила, то... неизвестно, что еще со мной стало бы! Вот! Я права?

– Отчасти, – согласился я. – Вот такая это страна.

– Иронизируешь?..

– Если бы.

– Всегда была такой. И лучше – не будет. А жаль. Короче, предлагать им деньги я не решилась.

– А мне – решилась.

– Ты, Олег, частное лицо. К тому же журналист. Если хочешь, мы можем даже оформить отношения договором о, скажем, подготовке статьи. И ты сможешь заплатить все налоги, чтобы все было по закону. Или это здесь по-прежнему не принято?

– Отчего же? У нас только так: или по-хорошему, или – по закону.

Глава 18

Потом Аня спросила, означает ли эта моя фраза согласие начать расследование. Расследование. Как громко...

– Почему ты обратилась именно ко мне, Аня?

– Я же тебе уже...

– Предположим, ты не доверяешь бактрийской милиции. Тогда почему бы тебе не разыскать частное сыскное агентство: там работают бывшие профессионалы: наверное, они смогли бы помочь тебе скорее и эффективнее – за твои деньги. С чего ты решила, что я вообще способен к такой работе?

– Частный сыск? Олег, в вашей стране любое сыскное или охранное предприятие – или чья-то «крыша», или бандиты.

– Ты давно у нас?

– Чуть больше недели.

– Раньше приезжала? Ну, когда стала взрослой?

– Нет.

– И за неделю успела так поднатореть?

– Поднатореть?

– Врубиться. Въехать. Наблатыкаться.

– Извини, Олег... Я не понимаю...

– Именно. Ты не понимаешь сленговых или просторечных слов. А как разобраться в здешних раскладах за неделю? Только не говори «нас инструктировали». Иначе я сразу спрошу – кто?

– Сотрудница туристической фирмы, через которую мы оформляли визы.

– На Украину?

– И в Россию тоже.

– Зачем?

– Мало ли.

– А в Казахстан?

– Зачем нам Казахстан?

– Мало ли.

– Олег, Крым теперь – всего лишь область, а не самый модный и фешенебельный курорт СССР. Как только у жителей бывшего Союза кроме единственного теплого моря появилась возможность ездить на Адриатику или Средиземноморье, получая почти за те же деньги, что и в Крыму, куда более пристойный сервис...

– Ты работу не собралась поменять? – перебил я девушку.

– В смысле?

– Как учительница ты слишком дидактична. А вот агентессой по туризму будешь звучать убедительно.

– Ты же хотел узнать, почему мы оформили визы и в Россию тоже...

– Угу. А не отчего отдых на Кипре лучше крымского.

– Извини. Может быть, я действительно многословна, просто хотелось тебе объяснить все обстоятельно.

– Я уже вырос из primary school.

– Вижу. Предположим, в самом Крыму не нашлось бы банка, способного выдать со счета Дэвида ту сумму наличными, которая...

– Смотрелись бы в Киев. Заодно – город посмотрели.

– Но Сочи – ближе.

- Сочи – тоже курорт.
 - Особенный. Там много пансионатов для очень богатых русских. Поэтому и представительства крупных банков там в наличии. А в Бактрии или Симферополе – нет.
 - И везли бы такую сумму наличных через границу?
 - Клиент готов был рассчитаться и на российской территории тоже.
 - Логично. И где ты все узнала? Про Сочи, Крым? В Аделаиде, штат Южная Австралия?
 - Я же сказала, мы изучали страну, прежде чем ехать.
 - Нанимали специалиста?
 - Нет. Этим занималась я. Папа очертил круг тем, а я внимательно просмотрела все газеты в интернет-версиях. За несколько месяцев. Московские издания. И крымские – тоже.
 - Да ты просто умница.
 - Вот именно. В одной из статей сказано было, что по опросам общественного мнения пятнадцать процентов россиян боятся организованной преступности. А милиции боятся – почти семьдесят процентов!
 - Специфика страны: «Каждый обыватель хоть в чем-то, но виноват». Такая вот «История одного города».
 - Я знаю. Прочла. Еще в детстве. Сначала посмотрела картинки и решила, что это юмор.
 - Самое забавное, что Салтыков работал губернатором.
 - Что здесь забавного?
- Я пожал плечами. Действительно, что? Разве только... Можно ли теперь «найти в России целой», нет, не «три пары стройных женских ног» – этого добра... Сыскать совестливого, образованного, мудрого и незаурядно одаренного губернатора? Про честность и неподкупность – умолчим. Нельзя же требовать от людей немислимого! Даже назначенных президентом!
- Ты понял?
 - Почему ты не обратилась к властям – да. Почему приехала ко мне – нет.
 - Это как раз просто. Светлых детских воспоминаний у меня немного. И ты – самое светлое.
 - Неужели?
 - Да. Я много раз представляла тебя и даже рисовала... А потом мне показалось, что тебя и вовсе не было, что я выдумала тебя, как выдумывала людей на своих рисунках... И еще... Я очень хорошо запомнила все там, в поезде. Наверное, потому, что раньше... меня никто не защищал. Ты ведь был...
 - Другим. И все, что случилось тогда, происходило в иной жизни. Теперь нереальной.
 - Для кого?
 - Для всех. Прошлое – мнимо. Растут новые люди, и то, что для меня б ы л о, для них – или абзац в учебнике, или – выдуманная реальность художественного кино.
 - Да? А что – реально? Вот жила я в Австралии, и выучилась, и работаю уже, и живу самостоятельно, и мне казалось – все забылось давно, вот это, здешнее прошлое... А как в Бактрии оказалась... словно наждаком счистили все последние четырнадцать лет, и мне стало так же тревожно и тоскливо, как было тогда. Я немедленно хотела уехать и стала папу уговаривать, но он лишь вышучивал мои страхи... А я даже не выходила почти никуда: ничего мне не хотелось там видеть, и – еще... Тебя я вспомнила сразу. И – то чувство надежности, что было, когда ты был рядом.
 - И поэтому ты уверена, что я смогу...
 - Надеюсь. Надежда и надежность – это ведь рядом.
 - В Австралии – надежно?

– Да. Она так далеко от остального мира, что... Там и звезды другие.

– А люди?

– Такие, как были у нас тридцать – сорок лет назад.

– Откуда ты знаешь, какие тогда были люди?

– Как и ты – из кино. Из книг. Из стихов. А вообще – разные они там. Только другие у них заботы и радости другие, чем здесь. И наверное, зависти меньше. Вернее... даже не знаю, как выразить... Напряжения. Вот. Здесь каждый выглядит так, словно готов дать суровый и немедленный отпор. У меня от этого – растерянность и тоска. Поэтому ты мне и нужен.

– Ты не очень похожа на учительницу младших классов.

– Читаю много. Но все мои знания – из книг. Или из фильмов. Люблю старые советские фильмы. Словно где-то там, в шестидесятых или семидесятых, потерялись мои молодые родители... Даже не успев познакомиться... – Аня замерла, глядя застывшим взглядом прямо перед собой. Потом встряхнулась, продолжила: – А работать с детками я мечтала давно, когда сама была ничьей. Я и преподаю в приюте. Но слово «преподавать» к английской системе образования не подходит. Это скорее – игра, общение... А маленькие – хорошие все, добрые, но уже и они и лгут, и наушничают, и сами понимают, что делают нехорошо, а пытаются выглядеть при этом невинно... А ведь дети еще. Но я знаю, почему это. Они хотят, чтобы их хоть кто-то похвалил. Или выделил из остальных. Только странно... «Стать личностью»... Какое-то выпретенное выражение. Словно из учебника.

– Так и есть.

– Но это правильно по-русски? Личность... Личина... «Личина» – это маска, за которой люди скрывают свое лицо на карнавале. А «личность» – это маска, за которой люди скрывают пустоту своей души.

– Тебя часто обижали в детстве, Аня?

– Случалось. Только не такая уж я беззащитная. Просто... И тогда, и теперь... Порой очень хочется быть беззащитной. Только... нельзя.

– Это с чужими. Со своими можно.

– И много у тебя своих, Олег?

Что я мог ответить? Ничего.

Глава 19

Самолет вознес нас на высоту десяти тысяч метров. В первом классе мы оказались лишь вдвоем. Девушка заказала два билета на Симферополь заранее.

– Ты так была уверена в моем согласии? Или в собственном обаянии?

– Я запомнила тебя прежним, Олег. И была уверена, что ты не изменился.

– Я изменился.

– Вот уж нет. По большому счету, люди не меняются. С годами то хорошее, что было в них, становится постоянным. А уродливое – всем видимым. Просто плохие люди свое душевное уродство, убожество и скудость не считают за грех. Они гордятся этим. Вернее – кичатся. От английского «kitchen». «Кухаркины дети». Власть они получили, а благородство... Его, как и любовь, не купишь.

Я потупил взгляд: рассуждения девушки были столь же правильны, сколь и банальны. «Баналитеты». Так назывались некогда обычные повинности французских вилланов по отношению к сюзеренам: запастись дров, поставить ко двору по три десятка яиц и по бочонку вина... А мы продолжаем эти «повинности» исполнять: думать, как принято и как положено. При этом беда всех юных состоит в том, что, мучительно постигнув какую-то истину, скажем, что земля круглая, они искренне полагают, что поняли это впервые и первыми. В этом и состоит недолгая сладость молодости.

Но она исчезает, когда приходит уже не знанием, а озарением, истина настоящая: земля, как и прежде, покоится на трех китах, и – горе нам, если хотя бы один из этих трех ненароком в полусне шевельнет хвостом...

А впрочем, что это я... Красивые девушки – как дети: они не просто желают всем нравиться: у них этого и так с избытком. Они хотят, чтобы окружающие оценили их самих, а не только внешнюю «оболочку»... Забывая, что рассуждения в устах хорошенькой девушки выглядят, как правило, или умилительно: «ой, что мы, оказывается, знаем, ути-пути...», или – вздорно: «...к эдакой красоте еще бы и ума, а впрочем, пес с ним, с умом...» А впрочем, что это я...

– А ты умный, Олег...

– Да неужели?

– Между делом выведал всю мою жизнь, а о своей не рассказал ни слова.

– Испытания, случающиеся с другими, люди чаще всего считают приключениями. А моя жизнь... «Был пленом, стал – мальчишкой, обзавелся умной книжкой...» – напел я. – С тех пор ничего существенно не изменилось.

– И что это была за книжка?

– Камасутра, разумеется.

– Вот даже как...

– Все просто. От Камасутры к Даодэдзину. От Даодэдзина к Библии. Между ними – сто тысяч томов всякой всячины.

– Шекспир тоже среди «всячины»?

– А то. «Что благородней духом – покоряться пращам и стрелам яростной судьбы, иль надо оказать сопротивление...»? Кто знает ответ?

– Ну для себя-то ты знаешь?

– Нельзя победить воду. Огонь. Небо.

– И только?

– Достаточно. Аня, ты мне все рассказала?

– Все.

– Теперь расскажи то, что скрыла.

- Но я...
- Мы ведь уже летим. Одним бортом. И сойти с него я не могу. И не хочу.
- Дело в том, что... Последнее время в Бактрии происходят разные события...
- Ты сказала это таким тоном... Я правильно думаю?
- Правильно. Смерти. Несколько смертей подряд. Довольно высокопоставленных людей и... Ходят слухи, что виною этому... монета.
- Та самая?
- Да. Медальон. Он принадлежал некогда верховному жрецу забытого ныне культа и был как бы знаком его власти и могущества.
- Его и предлагали Дэвиду Дэниэлсу?
- Да. В городе считают, что... тот, кто владеет медальоном, властен над событиями. Над жизнью и смертью многих. Это как-то связано с древним богом Гермесом. Он ведь был не только и не просто богом торговли, но и...
- Гермес Трисмегист, вестник богов, охранитель путников, проводник душ умерших. Он покровительствовал героям и странствующим, охранял их во время скитаний, все случайные находки тоже были в его ведении. Когда-то он покровительствовал и музыке. Он первым изготовил из панциря черепахи семиструнную сладкоголосую лиру; но важнее струнной игры было содержание песен, умение слагать слова и мысли, и это умение было дано людям Гермесом, поэтому искусство объяснения получило от него свое имя – *hermeneuein*. Еще – у него была свирель, и он играл на ней завораживающе...
- ...У Гермеса были золотые крылатые сандалии и жезл – средоточие магической силы. Его золотой жезл – родоначальник того волшебного жезла, властное движение которого давало силу и действенность заклинаниям всех магов и чародеев последующих времен. В руках с этим жезлом, пробуждающим и усыпляющим людей, Гермес мог входить в оба мира, как в царство живых, так и в царство теней. Как вестник богов, с помощью жезла он насылал на людей сны, в которых и происходило изъяснение божественной воли. Будучи посредником между обоими мирами, Гермес, или, по-иному, Ермай, располагал всей таинственной силой, что сокрыта в недрах земли, в обители смерти и сна.

Ермай тем временем, бог килленейский, мужей умерщвленных
Души из трупов бесчувственных вызвал; имея в руках свой
Жезл золотой – по желанью его наводящий на бодрых
Сон, отверзающий сном затворенные очи у сонных⁹.

⁹ Из Илиады Гомера в переводе В.А. Жуковского.

Глава 20

...Гермес провожал души в царство подземелья, он же мог вывести их обратно. Всякое общение живого с умершим происходило только при посредстве Гермеса; и чем более стекалось в Грецию восточных магов, тем более стало расти поклонение Гермесу, как владыке чар и тайного знания.

Но земля – не только источник знания, но и благ; ее владыка – Плутон, ведающий и смертью, и богатством. А вот золото – это дар Гермеса. Золото – это нега, золото – это покой, золото – это власть... Но золото – это смерть! Своим даром подземные духи налагают на человека руку; кто его коснется, тот отдает себя под их власть... Но соблазн неги и власти всегда велик, а потому Гермесу, как владыке металлов, ниспосылались молитвы и творились его именем чары...

...И это – самое немногое из того, что можно рассказать о Гермесе.

Аня долго молчала, потом сказала:

– Ты все это... знаешь, и ты... не боишься?

Что я мог ей ответить? А вспомнилось почему-то... Некогда был я на раскопках древней Гермонасы – города Гермеса... И один из нас ночью решил пойти на раскоп и взял с собой свирель... Играть он только учился, и чтобы никому не мешать... Светила полная луна; стены древнего города заливало белым, а он извлекал из инструмента ужасающие звуки, пока...

...К нам он прибежал напуганным и бледным. И сказал: «Белая тень пришла и стояла долго, пока я не ушел, церемонно ей поклонившись... – Улыбнулся сквозь сведенное тревогой лицо: – Видно, я плохо играл».

Кто это был? Дух жителя города, не захороненного по обряду и потому – обреченного на скитания? Или это была сама Эвридика, чей изысканный слух терзали праздные ученические упражнения нашего товарища?.. Кто скажет?

...Орфей. Его пение и игра покоряли людей, деревья, зверей и даже богов. Когда умерла Эвридика, ужаленная змеей, он оплакивал ее так, что плакало все вокруг. И тогда он пошел в царство мертвых, спустившись через мрачную пещеру Тэнара к берегам священного Стикса. И стоял на берегу, и слышал вокруг себя приглушенные стоны теней, подобные шороху листьев... И вот причалила ладья Харона, и заиграл Орфей, и замер неумолимый страж, очарованный его музыкой, и взошел Орфей в ладью, и переправился через Стикс, и предстал перед Аидом. И снова ударил он по струнам и запел – о своей любви к Эвридике и о том, как счастливы были их дни и как скоротечны, словно соловьиные весны... И его любовь, и его тоска изливались в этой песне... И все подземное царство слушало его пение, и Тантал забыл терзавшие его голод и жажду, и Сизиф прекратил свой тяжкий бессмысленный труд, и сел на камень, который вкатывал в гору, и задумался печально, и, склонив голову на грудь, внимал этой песне сам Аид...

И спросил Аид, зачем сошел Орфей в его царство, и поклялся нерушимой клятвой, что исполнит он любую просьбу дивного музыканта.

И просил его Орфей вернуть ему Эвридику, не навсегда – ведь все рано или поздно приходят в царство теней, – но коротки были ее дни, и кратко их счастье... И разрешил ему Аид вернуться вместе с женою к солнцу и свету, но идти певец должен был вслед за Гермесом и ни за что не оглядываться!

Труден был путь; тропинка шла круто вверх и была загромождена камнями, и уже забрезжил свет... Но обеспокоился Орфей: идет ли за ним его возлюбленная, не отстала ли, не упала – ведь он не слышал ее шагов... Но кто может расслышать шаги тени?.. И тревога смутила его сердце, и он не выдержал, и обернулся, и увидел ее, и потянул к ней руки и...

тень девушки дрогнула и стала тонуть во мраке, пока не исчезла совсем... И стоял Орфей, охваченный отчаянием, словно застывший каменный гость, и не мог примириться с потерей...

...Веки мои слипались. Хотелось спать. Получилось, с Аней мы проговорили всю ночь, потом недолгие сборы, и, хотя сейчас было раннее утро, веки слипались и...

– Аня, а где теперь тот мальчик? – спросил я неожиданно для самого себя.

– Мальчик?

– Да. Он еще играл на свирели...

– Он и теперь играет. На той же площади.

– Кажется, он был в тебя влюблен?..

– Влюблен? Все мы были совсем еще дети... – безразлично ответила девушка, глаза ее потемнели, словно предгрозовое море... – Только он с тех пор так и не повзрослел. Совсем.

«Я утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам...» – вспомнил я из Иоанна, а вслух произнес:

– Кажется, он мечтал сделать всех людей счастливыми...

– «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой...» – отозвалась Аня сихами Жана Пьера Беранже. – Эжен и раньше был... не от мира сего, а теперь... Он почему-то вбил себе в голову, что я обязана его полюбить. Ты понимаешь? Обязана. В Бактрии мы встретились случайно: он брел навстречу, нетрезвый и несчастный, вернее, нет, не несчастный... Сосредоточенный, но так, как бывает у ненормальных людей...

– Или у гениев?

– Может быть. Но при нашей встрече он не выказал ни удивления, ни радости; поднял взгляд, увидел меня, крепко взял за руку, так, что мне даже больно стало, и сказал: «Теперь я тебя уже никуда не отпущу». Словно я его вещь. Разве так любят? – Аня помолчала, закончила: – Любовь не требует ничего и желает всего.

Глава 21

«Сосед-флейтист обломки флейты в печке сжег – Анета влюблена...»¹⁰ – напел я про себя. Произнес:

– Аня, а можно мне еще спросить?

– Да.

– Просто это деликатный вопрос и...

– Ты хочешь узнать, когда я лишилась девственности? И – с кем?

– О нет. Просто тогда, четырнадцать лет назад, ваш воспитатель, кажется Аделаида...

– Это я живу в Аделаиде. А ее зовут Альбина. Альбина Викентьевна.

– Ну да. Альбина. Мы пытались расспросить ее о причинах... нападения на вас и попытки похищения, но ничего она нам путного не ответила. Сказала только, что вы – необычные дети. Наделенные... талантом, даром – не знаю, как сказать. Вот Эжен – музыкант...

– Музыкант... Он теперь неопрятен и вечно нетрезв. И глаза какие-то странные. Стоит со скрипкой или с флейтой все на той же брусчатой площади... – В голосе девушки снова послышалось неприкрытое раздражение, если не сказать – вражда.

– Аня, а каким даром наделена была ты?

– Я? Даром? Никаким. – Девушка жестко свела губы. – А вообще и я, и Эжен, и остальные – так, выбраковка. Ты понял? Вы-бра-ков-ка. Звучит как диагноз без надежды на выздоровление. И это нам высказала та самая Альбина. В минуту, так сказать, душевного смятения: дети вообще не тихие, а мы были еще и беспокойные... Но разве хоть кто-то из нас был виноват в том, что она осталась старой девой?

– Ты можешь быть жестокой.

– А я никогда и не желала казаться доброй к тем, кто... которые... – Аня запнулась, закончила: – Не важно.

– А что – важно?

– Найти папу Дэвида и убраться и из этой Бактрии, и из этой страны. Чтобы не вспоминать о ней никогда! – Девушка замолчала, щеки ее пылали. Потом сказала: – Извини, если я... задела чувство патриотизма к твоей стране.

Патриотизм... «К твоей стране...» В феодально-сырьевой латифундии, какой сейчас является Россия, бюрократия копает могилу собственной стране и своему будущему благополучию неистребимой тягой жить роскошно и – ничего не решать по существу. Всякое корпоративное сообщество стремится к паразитарному существованию и безрисковому обогащению; в России такие возможности для близких к «корыту» безграничны. Теперешняя жизнь так разделила даже людей служилых по уровню оплаты и возможностям, что «генералитет» – и военный, и статский – превратился в иной класс общества. Бюрократия похоронит Россию. «К твоей стране...» Где она теперь, моя страна? В книгах? Кинофильмах? Исторических мифах?

– Мое чувство патриотизма несколько... истаяло за минувшие годы. Вместе со страной. Но... люди не всегда виноваты в том, что с ними происходит.

– Всегда! Мир никто изменить не может, а вот себя – просто обязан!

– Не у всех достает на это силы и стойкости. А еще – люди устают.

– Ты – тоже?

– Да. Я тоже.

¹⁰ Из песни Михаила Щербакова «Анета».

– Отчего ты тогда согласился... поехать со мной?

– Хочу... поправить.

– Что?

– Твое мнение о стране. И о людях.

Поскольку в первом классе мы были лишь вдвоем, я закурил. Аня сидела, демонстративно отвернувшись и глядя в иллюминатор. Потом сказала тихо:

– Я рисовала.

– Извини?..

– Ты спросил, какой у меня был дар. Я ответила честно: никакого. Я рисовала всякую... муть.

– Эжен считал, что ты будешь художницей, а он – музыкантом и вы будете путешествовать и... – Я чуть было не сказал «искать родителей» и вовремя осекся: тема эта для сирот вообще не простая, а у Ани еще и болезненная сейчас: пропал ее отец...

– Ты хочешь правду? Я не стала художницей. А он – не стал музыкантом. Да, я рисовала небо и море, лес и людей – похоже. Но рисовать похоже – еще не значит быть художником. Как уметь рифмовать – совсем не значит быть поэтом. К тому же... Я рисовала вовсе не то, что... вокруг, а лишь то, что подсказывало мне воображение. И рисунки мои были какие-то карикатурные, а порою – болезненные. Та же Альбина как-то сказала, когда увидела: «Что ты плодишь уродов? Их что, без тебя плодить некому? Разве бывают такие люди?»

А я... я изображала вовсе не людей. Я пыталась написать зависть и жадность. В виде людей. А как это еще можно изобразить? Ведь звери никому не завидуют... Хотя – ревнуют. Видно, плохо мне было тогда совсем...

...И еще – я часто рисовала одиночество. Оно мне представлялось серой, укрытой туманом пустыней. Или – покинутым домом, пустой комнатой, с серебряной венецианской вазой на крытом скатертью круглом столе с витыми ореховыми ножками, с затворенным окном, за которым угадывалось желтое увядание старинного парка, с осенними хризантемами в синей стеклянной бутылки... Высокий деревянный стул, трубка, раскрытая коробка с табаком, острый запах мокрой земли и увядающих листьев, затухший холодный камин с отливающими влажным блеском углями... Именно таким было для меня одиночество, но я знала, это одиночество не мое, чужое, и все равно боялась его... и становилось тревожно и... зябко.

Мне холодно. Но грустно только здесь,
Где морось пробирает до костей.
Угли в камине заблестели влажно
От стылой сырости ничейного жилища.
В червленом серебре – шары цветов.
Над парком, неподвижною портьерой,
Застыло небо в сумерках дождя,
Промозглое ненастье предвещая.
Едва проглянет солнце – меркнет день.
В сусальной позолоте блики листьев.
И старый пруд заволокло травой
И тиной. Скоро ляжет вечер.
А под ногами – скрежет битых стекол —
Унылых черепков из прошлой жизни.
А запах ветра так похож на снег!..

Мне грустно здесь. И холодно – везде¹¹.

...Когда прочла в случайной книге эти стихи, вдруг вспомнилась та моя картина.

– А где они теперь? Твои картины?

– Не знаю. Затерялись. И я о том не жалею. Как только у меня появились мама и папа и я уехала в Австралию, я перестала рисовать. Не сразу, постепенно, как постепенно оставляло меня сиротство и собственная ненужность никому... Наверное, я коряво выражаюсь, но так и было. – Аня замолчала, пометалась глазами, словно решаясь – говорить? нет? – потом сказала: – А сейчас... Вернее, нет, не сейчас... Как только я оказалась в Бактрии, больше недели назад, это... наваждение снова вернулось. И мечешься, и не можешь уснуть, пока не выпишешь все, что... Словно это твой долг или повинность. И рисунки получаются – как сны, но сны кошмарные... Я их сожгла. Потому что... я их боюсь. – Аня подняла на меня взгляд: – Спать хочется. Тебе нет?

– Немного.

– А ты... Ты не боишься порой своих снов?

– Снов не боятся только те, кто уверен, что окружающей реальностью исчерпывается весь этот мир.

¹¹ Стихотворение Петра Катериничева «Мне грустно».

Глава 22

В столице Крыма стояло ясное утро. Казалось, зима вовсе миновала эти места или прошла стороной: деревья зеленели, небо было ясным, а тот непостижимый воздух, что бывает только от смешанного аромата цветущих акаций, степных трав и недалекого моря... Все мы выросли в краях, где много зимы и мало солнышка, а потому его недостаток кажется нам порою почти волшебством.

Впрочем, для местных все это было рутинно, скучно, пыльно... И они мечтали о столицах с проспектами, бесчисленными кафе, ночными клубами, близостью к высокой власти и огромным деньгам. Но часто, приехав в такой город, терялись или, напротив, металась дерзко, и заканчивались эти метания чаще всего жаждой возврата, но возвращаться ни с чем было вроде бы совестно, и вот, отыскав в столице тесное жилье и скудную работу, они приезжали в отпуск, чтобы в кофейнях и барах рассказывать товарищам детства о покоренных «вершинах», купаясь, за неимением славы, в их искренней зависти, какая, будучи изречена и выражена, видится восхищением.

Мы взяли такси и помчались в Бактрию. Потусторонние размышления «о природе вещей» после полубессонной ночи казались чистым вымыслом и, скорее всего, им и были. У Дэвида Дэниэлса было несколько причин пропасть без вести: деньги, деньги, деньги. Те, что ему принадлежат в Нигерии, те, что он привез с собой, те, что стоит монета как на черном рынке, так и у акционистов. А есть и еще одна, вполне прозаическая, какую простодушно подразумевал нетрезвый капитан, когда Аня излагала ему историю о безвременном исчезновении папы Дэви: жена Дэниэлса – почти ему ровесница, прожили они вместе не пойми сколько лет, а здесь – тепло, море, девушки красивы и доступны и... Мог он влюбиться? Да запросто! Как гласит народная мудрость: «Меняю одну за сорок на две по двадцать». Звучит пошло, но правдоподобно. А если его второй половине уже под шестьдесят, а он – мужчина хоть куда...

Выяснилось, что Аня с папой сняли очень недорого – не сезон – половину двухэтажного особняка, выходящего фронтоном к морю, и до центральной набережной было рукой подать; от шума постояльцев оберегало то, что спальня находилась окнами во дворик. Вторую половину, по словам Ани, снял какой-то российский предприниматель. По виду – человек жесткий и решительный. Но бандитом девушка его отчего-то не нарекла. Почему бы папе Дэниэлсу, чей годовой доход исчисляется миллионами, не снять особняк целиком, я спрашивать не стал – не мне разгадывать сумерки душ ненашенских миллионеров. Хотя найти его предстоит именно мне. Живого или мертвого, говоря высокопарно.

Вскоре выдавшая виды «Волга» уже катилась по Бактрии. Утренний город выглядел прохладным и свежим и совсем не походил ни на ночные мои кошмары, ни на почти пятнадцатилетней давности воспоминания. Там и сям попадались расстроившиеся особнячки; набережная была ухожена и пуста, и волны, разбиваясь о молы, окрашивали утро соленой радугой. Говорят, примета хорошая. Омрачало одно: за нами от самого аэропорта тащился хвостом затрапезный, не пойми какой модели глухо тонированный «бумер». Отчалил одновременно с такси и катил внаглую, стараясь не отстать: наш водила был поопытнее и «сделал-таки» преследователя на серпантинке из чисто профессионального азарта; тот сначала поотстал, а потом и вовсе – пропал.

Но томила, как водится, неизвестность. За чернотой стекла мог оказаться добрый одинокий нигериец, крашенный блондином, а могла и «бригада отделочников» со скверными намерениями. Впрочем, стационарный пост ГАИ на въезде в Бактрию «бэха» проскочила легко: автомобиль был местный и свой. Ведь что такое, по сути, курортный городок не в сезон? Деревенька, где все друг друга и все друг другу. Такие дела.

Домик, который и впрямь несколько походил на дворец, перестроен был из возведенного лет сто с небольшим тому модернового купеческого домины, отданного потом под коммунальное расселение здешним пролетариям и приватизированного в новейшие времена безвестным чиновником управы по остаточной стоимости дырки от бублика... Не удивлюсь, что и ремонт проделан за счет скудного местного бюджета, пока домик пребывал в городской и почти общенародной собственности. А истраченные деньги, как водится, списали на стихию: шторма, знаете ли, балуют, то да се...

Хорош был домик: с круглым плафоном витражей, с архитектурными излишествами в виде витых колонн, связанных узлами. Даже мозаику на фронте и ту восстановили: изображала она аргонатов, бороздящих на кораблике как раз те самые воды, что орошали набережную мутной волной.

У дома нас ждал сюрприз: алый открытый «феррари» подкатил с визгом, а из него, в элегантном прыжке, с огромной охапкой белоснежных роз... Мама дорогая! Если здесь и скучали, готовясь к сезону, массы «жутко сладострастных мачо», то это был их Вожжжж! Загорелый, лет двадцати трех, в шведке и свободных джинсах, с фигурой античного атлета, впрочем, не ариец, с примесью азиатской крови: глаза его были темны и слегка раскосы, длинные волосы забраны сзади изящным шнуром. Аня взвизгнула и бросилась ему на шею:

– Морис!

Пока они лобызались, я расплатился с водителем и скромно топтался позади. Наконец, атлет удостоил меня взглядом, приветственно кивнул, изогнув чувственные губы в полуулыбке, но сам взгляд был таков, словно я – так, недоразумение человеческое, осколок, обмылок двадцатилетней кухонно-коммунальной склочки где-нибудь в тараканьей хрущобе Похмельевска-на-Усяеве, а вовсе не гигант мысли! Коего, кстати, девушка Аня долгохонько и по-взрослому уговаривала совершить с ней вояж в здешние палестины... «Одна-а-ако...»

Аня что-то пошептала герою на ухо; Морис подошел, поклонился кивком, развел губы в гримаске... Наши глаза встретились, и я осознал, что ошибся: никакого мачо не было и в помине: передо мной был зверь – гибкий, ловкий, стремительный, а в глазах его словно плескалась стылая полынья: этот парень умел убивать и убивал; жестко, в рукопашке, скоро и безэмоционально. Подобный взгляд я видывал у одного лишь человека – но было это в давешней, прошлой жизни... Звали его Аскер.

А Морис тем временем как-то отклассифицировал и меня, имярек, и причислил, надо полагать, к определенному типу если и не вполне беспозвоночных, то каких-нибудь хитиново-хордовых... Заговорил тихо и внятно, губы продолжали изображать улыбку, глаза... Да что говорить, нехорошие были глаза.

– Слушай сюда, ищейка. Тебе Анета что-то поручила – ищи хорошо. Отрабатывай. Найдешь – получишь кость. Не найдешь – я их тебе переломаю. И запомни: эта девочка...

Я ударил коротко и резко. В голову. Даже если голова сработана из единого куска бетона с арматурой внутри, такой удар не «держал» никто. Морис исключением не стал. Рухнул подкошенно и бесчувственно на кромку.

Не знаю, что на меня нашло. Наверное, полугодовое уединение тому виной. И мысли о вечном. Пора было возвращаться в мир. И снова доказывать, что я в нем чего-то стою.

Глава 23

Удар мой был столь скор и резок, что его, сдастся, никто попросту не заметил. А вот реакция Ани меня озадачила: в ее взгляде было... искреннее удивление.

– Что с ним? Обморок? – спросила она.

– Похоже на то, – пожал я плечами. – Наверное, я его чуть-чуть... огорчил.

– Что значит... Ты его... ударил?

– Слегка. Извини.

Удивление Ани стало безмерным и безграничным.

– Ты... ударил Мориса... и он... упал?!

– Как видишь.

– Но этого не может быть!

Аня присела, приподняла голову парня. Полузакрытые веки приоткрывали зрачки, в которых не читалось ничего, кроме глубокого беспамятства. Оно и понятно. После такого удара он «вернется» минут через тридцать. И то – не вполне. На «вполне», может статься, потребуется часа два. Или чуть больше.

– Этого просто не может быть! Мориса никто никогда не сбивал с ног! Это даже представить себе...

– Все в этой жизни когда-то происходит впервые. Кто он?

– Мой одноклассник.

– По Австралии?

– Издеваешься? Из детдома! Почему он лежит? – вдруг спросила девушка обеспокоенным тоном.

«А что, он должен еще сидеть? И – долго?» – чуть было не спросил я, но, уловив нешуточную тревогу в Анином голосе, ответил, слегка покривив душой, но честно:

– Нокаут. Минут через десять придет в себя.

– И только?

– И только.

– Что вообще произошло?!

– Да как водится: его неуместная шутка, моя – неадекватная реакция. И всех делов.

Аня покачала головой, и выражение лица у нее было вполне красноречивым и читалось хоть на русском, хоть на австралийском диалекте английского одинаково: «Мужики есть мужики!»

А что может связывать юную австралийскую красавицу с таким типом? Кроме неоплатонических утех, разумеется? И общего школьно-сиротского прошлого? И – почему она бросилась ему на шею, а он встречал со сквериком белых роз в разлапистых дланях? Романтика босоногого детства? «Белые розы, белые розы, беззащитны шипы...» Но ведь она пришла в Бактрию уже дней десять как. А встретились они только теперь. Впервые. В отлучке был? В командировке? В отсидке? Кто он, вообще, такой?

Словно в ответ на мои вопросы из подъехавшего запоздавшего «бумера» вывалился детка: коротенький, кругленький, широколицый, рыжий... Тельце – огурчиком, бровки – домиком, зубки – через раз... Вот только в руке – могучий «стечкин», и держал он его так, что...

– Отойди в сторону, Анета, – произнес рыжий спокойно и вяло.

– Гоша, ты что, спятил? – отреагировала Аня властно и абсолютно бесстрашно.

«Безумству храбрых поем мы песни... Безумство храбрых – вот мудрость жизни...» Это не про меня. Ха! Какое там «спятил»! Рука у парня не рыскает, тверда, лучше бы отойти, пока учтиво просит!

– Гоша, я т е б е говорю! – Тон Ани стал ледяным.

Похоже, это тоже ее однокашник. Из того же дурдома. Соседняя палата. Для буйно-огнестрельных. «Страшные лесные разбойники» во главе со своей Атаманшей! Мультик какой-то... компьютерный! А вообще – состояние было препаршивым. Мультик-то он мультик, но ствол у парня – серьезный. Почему-то вспомнилось поганое словечко донны Агнессы, вернее, фрейлейн Альбины: «выбраковка»... Что я здесь делаю?!

Но мысли эти проскочили в голове расшуганными апрельскими котами; ко мне вернулась способность размышлять здраво, и подумалось: если сразу не выстрелил, значит... А ни черта это не значит! Аня перекрывала «сектор обстрела», вернее, просто стояла между мною и рыжим дейвом! И стоит ей сделать шаг в сторону... Да и всякое может стемяниться в оранжевой Гошиной башке, и решит детинушка, что и стрелок он ворошиловский, и ковбой алабамский, и джидай галактический...

Аня стремительно сделала несколько шагов вперед, взяла пистолет за ствол и уперла себе в подреберье:

– Ну что ты, Гоша, застыл?

Лицо маленького Гоши вдруг странно сморщилось, плечи затряслись, по щекам побежали слезы... Он уткнулся Ане в рукав и захлюпал, вздрагивая всем существом... А девушка наклонилась к нему и нашептывала что-то увещательное...

Вот елки с палками! Палата номер шесть! Полет шмеля над гнездом кукушки!

Аня вернулась, так и оставив пистолет у Гоши. Сказала:

– Он просто все неправильно понял и перенервничал. Думал, Морис убит, вот и... Теперь все в порядке. Я ему велела, чтоб извинился.

И точно: коротышка подсеменял ко мне, запрятав массивную «дуру» под пиджак, и, опустив глаза долу, только что ножкой не пришаркивая, выговорил неожиданно густым баском:

– Вы меня простите... Не понял сгоряча... Не сочтите за оскорбление... – и отошел в сторонку. Чтобы не маячить, так сказать. Потом взглянул на Аню, получил одобрителный кивок и, подхватив бесчувственного Мориса под мышки, отволок к автомобилю, затащил в салон, хлопнул дверцей и – был таков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.